

■ А.А. Коринфский ■

НАРОДНАЯ РУСЬ

*Круглый год сказаний, поверий, обычаев и пословиц
русского народа*



Аполлон Коринфский

**Народная Русь. Круглый год
сказаний, поверий, обычаев
и пословиц русского народа**

«Издательство АСТ»

1901

Коринфский А. А.

Народная Русь. Круглый год сказаний, поверий, обычаев и пословиц русского народа / А. А. Коринфский — «Издательство АСТ», 1901

Данная книга представляет собой масштабный труд талантливого русского писателя Аполлона Аполлоновича Коринфского (1868-1937), которому удалось собрать богатейший этнографический материал, исследуя запутанное переплетение сохранившихся языческих мифов и обрядов и христианства на Руси, историю всех праздников, поэтические воззрения славян на природу и мироустройство. Это плод более чем двадцатилетних наблюдений автора над бытом крестьянина-великоросса, дополненных сравнительным изучением всех ранее появлявшихся в печати материалов по русской и славянской этнографии. Самостоятельные наблюдения автора сосредотачивались преимущественно на Нижегородско-Самарском Поволжье (губерниях Нижегородской, Казанской, Симбирской, Самарской).

© Коринфский А. А., 1901

© Издательство АСТ, 1901

Содержание

Поэт, «подобный солнцу»	5
Предисловие	22
I. Мать-Сыра-Земля	24
II. Хлеб насущный	33
III. Небесный мир	41
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Аполлон Аполлонович Коринфский

Народная Русь: Круглый год сказаний, поверий, обычаев и пословиц русского народа

К 125-летию литературной деятельности А.А. Коринфского, отмечаемому в декабре 2011 года.

Поэт, «подобный солнцу»

Многие книги живут как бы сами по себе, вне всякой зависимости от судьбы и жизненных перипетий их авторов. «Народная Русь», которую читателю предстоит открыть, исключением не стала, хотя как посмотреть.

В середине 1970-х годов, когда уже «кое-что стало можно», по рукам ходил список книг, которые порядочному человеку непременно нужно постараться прочесть. «Народная Русь» Аполлона Коринфского значилась среди первых. В открытом каталоге Ленинки книга не значилась, но знакомые библиотекари потихоньку подсказали шифр из Генерального каталога, «где есть все», и вот тогда-то приоткрылась дверца в настоящую сказку.

Не один сумрачный зимний вечер довелось провести мне в громадном, парадном зале главной библиотеки страны, вчитываясь в страницы вождя изданного издания. Вокруг конспектировали творения вождя, сочиняли собственные диссертации, а я погружался в мир древней, еще полуязыческой Руси, с ее почти неизвестными божествами и героями, с прогнозом погоды вовсе не от Гидрометцентра, а от Луны и ворон. Поэтическое описание почти каждого дня года приоткрывало совсем иную жизнь родной страны с малознакомыми обычаями и приметами, о которых тогда только в семье жила смутная память.

Совершенно неизвестным казался и автор книги – с вычурной, более похожей на псевдоним фамилией и именем. На самом деле они были настоящими, а в их появлении на свет вина лежала исключительно на театре, но не Большом, Малом или уж тем более Художественном, а «театре жизни», на сцене которого еще в начале XIX столетия дед сочинителя книги удачно разыграл «роль маленького Ломоносова». Его внук – Аполлон Коринфский, создатель «Народной Руси», хорошо известный дореволюционному читателю, пропуска на сценическое пространство советской литературы не получил, хотя за его первыми театральными успехами следил сам Ленин, бывший тогда еще просто Володей Ульяновым. Отсутствие пропуска, а точнее допуска в советскую литературу могло оказаться и отсутствием пропуска в бессмертие, но в «театре жизни» оказались несколько иные законы жанра, не всегда зависящие от органов, допуск дающих...

Немало театрального и мифического внес и сам гимназический соученик Ильича в рассказы как о своих предках, так и о себе самом – жизнь, а не богатая фантазия заставила. Постараюсь представить читателю наиболее правдивую версию «пьесы жизни» Аполлона Аполлоновича Коринфского, хотя ручаться за полное изгнание мифов не могу, ведь сам Коринфский вроде бы тоже принадлежал к знаменитой когда-то «мифологической школе».

Как-то раз, незадолго до войны 1812 года, к маститому петербургскому архитектору-академику Андрею Николаевичу Воронихину явился двадцатилетний парень-мордвин и попросил принять его на учебу в архитектурный класс Императорской Академии художеств, которым

Воронихин как раз и руководил. Просьба «маленького Ломоносова», а именно его роль взял на себя посетитель, показалась весьма необычной – ведь тогда в Академию принимали преимущественно малолетних, не достигших еще и десятилетнего возраста. К тому же мещанин из Арзамаса Мишенька Варенцов на самом деле вполне мог оказаться беглым крепостным и вообще проходимцем. Воронихин, и сам не блиставший законным и сиятельным происхождением, решил рискнуть и не прогадал. Лучшего практикующего помощника при строительстве петербургского Казанского собора, которое тогда вел зодчий, было не сыскать. «Ломоносов» даже поселился в квартире Андрея Николаевича.

Успешно продвигалась и учеба в Академии, регулярно отмечаемая академическими медалями. Дело в том, что у «маленького Ломоносова» уже имелась неплохая профессиональная подготовка, полученная в арзамасской школе живописи А.В. Ступина, так что учебу приходилось начинать отнюдь не с нуля. Гены тоже играли свою роль – отец Михаила Варенцова много лет резал иконостасы. Видимо, на берега Невы привез Мишеньку сам Ступин, которому покровительствовал граф А.С. Строганов, по слухам, имевший и некоторое отношение к Воронихину... Так или иначе, но судьба еще одного русского гения из простого народа оказалась в надежных руках – хотя бы на первое время.

Кончились Отечественная война 1812 года и заграничные походы русской армии. Архитектурное сообщество, воодушевленное, как и все русские люди, победой над наполеоновскими ордами, взялось за проектирование храма-памятника в честь освобождения страны. Император Александр I, подписавший Манифест о его сооружении, внимательно следил за полетом архитектурной фантазии. Воронихин со своим любимым учеником не остались в стороне. Оба создали проекты храма-памятника. Михаил Варенцов представил его в качестве дипломной работы по окончании курса Академии художеств. Воронихин не побоялся конкуренции и, пользуясь связями, пригласил на защиту диплома... самого царя. Проект храма-памятника был выполнен в коринфском стиле. Согласно легенде, Александру он до того понравился, что император приказал Мишеньке Варенцову отныне именоваться Михаилом Петровичем Коринфским, а его проект пустить в работу, но только в провинции. Москве же, где предполагалось соорудить главный храм-памятник, предстояло получить совсем другое украшение, придуманное художником-масоном – Карлом-Магнусом Витбергом.

Так неожиданно появилась фамилия Коринфский, ну а уж ставшее родовым имя Аполлон оказалось простой благодарностью от мордовского мещанина главному богу античных искусств за собственные редкостные успехи на архитектурном поприще.

На самом деле фамилия Коринфский, а затем и принадлежность к потомственному дворянству официально закрепились за Михаилом Петровичем только в 1830 году, когда он получил звание академика архитектуры. Позднее к ним присоединились чины, ордена, дворянство и земельные наделы, пожалованные отнюдь не за красивые глаза. Император Николай Павлович считал себя ценителем творчества Коринфского и полагал своим долгом официально подтверждать это.

По окончании же Академии художеств Коринфский уехал в провинцию, на родину – в Арзамас, где создал архитектурное училище и воплотил в жизнь свой первый грандиозный проект – Воскресенский городской собор.

До революции в среднерусских и особенно приволжских городах негласно существовало своеобразное архитектурное соревнование – чей городской собор лучше и краше, чей дольше видно, когда плывешь по Волге или Оке. Первым громадным храмом, сооруженным Коринфским в провинции, стал Воскресенский собор в родном Арзамасе. Его размеры столь грандиозны, что бедные большевики не нашли ни сил, ни достаточного количества взрывчатки, дабы ликвидировать эту «поповскую громаду» в пору одной из безбожных пятилеток. На храме просто по сию пору ставят технический эксперимент на крепость его фундаментов – рядом с собором располагается стоянка многочисленных местных автобусов.

Отыгрались же большевики на следующем соборе-памятнике участникам Отечественной войны 1812 года, построенном Коринфским на сей раз на родине вождя мирового пролетариата товарища Ленина – в Симбирске, куда архитектор переехал на жительство. Если Арзамасский собор парит над городом, то Симбирский собор, весь устремленный ввысь, некогда буквально взмывал над родиной Ильича. Понятно, что терпеть такого конкурента мемориальным сооружениям в память своего вождя большевики просто не имели идеологического права, и собор-памятник в Симбирске пал под ударами местных соратников главного безбожника Страны Советов Минея Израилевича Губельмана-Ярославского, хотя храм и был до некоторой степени связан с Лениным. Любопытно, что инициатива его сноса исходила именно от городских властей, а вовсе не из Москвы, где собор по праву называли выдающимся архитектурным сооружением и сносить как раз не рекомендовали.

После работ в Симбирске Коринфский получил должность архитектора Казанского университета, поначалу много строил, но постепенно его коринфский стиль, классическая ясность проектов перестали устраивать чиновничество. Хотелось чего-то иного, чего и сами не знали... «Перемен». На Арском кладбище в Казани, по некоторым сведениям, сохранилась могила архитектора, украшенная как будто бы им самим спроектированным надгробным памятником, несколько порушенным как дань текущей по всему XX столетию моде.

Современные исследования ставят под сомнение некоторые легенды о Мишеньке Варенцове – будто бы и не мордвин, и в Питер не бегал, а был привезен чуть ли не с триумфом, что отнюдь не мешает восхищаться его архитектурными шедеврами. Ходят слухи, что даже совершенный по формам Симбирский собор собираются восстанавливать...

Со своим замечательным внуком Михаилу Петровичу познакомиться не довелось – разошлись во времени почти на два десятилетия. Сошлись они в одном – в сознании величия творчества.

Сын архитектора, нареченный гордым именем главного античного бога искусств Аполлона, обосновался на родине Ильича и в особых художественных пристрастиях замечен не был – он исполнял обязанности мирового судьи и мирового посредника в одном из уездов Симбирской губернии.

В окрестностях Симбирска, в Симбирском же уезде, Коринфские приобрели небольшое имение – Ртищево-Каменский околоток. Здесь-то и появился на свет будущий автор «Народной Руси» Аполлон Аполлонович Коринфский. Случилось это радостное событие 1 сентября 1867 года. Во многих публикациях указан 1868 год и дата 29.8 (10.9). Скорее всего, обе эти даты нуждаются в более полном обосновании, равно как и Симбирск, чаще указываемый в качестве места рождения поэта. По крайней мере в анкетах Коринфский указывал годом рождения 1868, а местом Симбирск, что было связано с некоторыми особенностями советского времени, когда происхождение желательно было иметь исключительно пролетарское и появляться на свет отнюдь не в усадьбах.

В родах умерла мать Плоши, так в детстве звали Аполлона Аполлоновича, а когда мальчику исполнилось пять лет, скончался и его отец, но Аполлон Михайлович успел открыть перед сыном «сладость слова». Юный Плоша стал учить наизусть стихи классиков русской литературы, которые читал ему отец. Первым был Пушкин, чье влияние впоследствии оказалось решающим, хотя тогда в большей моде пребывал Некрасов со своей гражданской музой. Вот так рано начался у Плоши отход от демократических традиций в сторону «чистого искусства», какового ему не могли простить столпы демократии – от Корнея Чуковского и до большевиков-пролеткультовцев, хотя памяти Некрасова Коринфский и посвятил немало поэтических строк. Не помогло.

В усадьбе Коринфских собралась неплохая библиотека, которую юный поэт дополнял своими рукописными тетрадками. Именно в них оказалось записано начало книги, которую читатель держит в руках. Известно, что чем ближе несет свои воды Волга к бывшему Астраханскому царству, тем дальше уходит европейская цивилизация, тем более сохраняется на берегах великой реки коренная русская жизнь, не поврежденная благами прогресса. Точнее – сохранялась. Симбирская губерния являла собой некое подобие пограничного рубежа, где вплоть до середины XX столетия сохранялись уникальные памятники русского народного слова.

Коринфский провел детство и большую часть отрочества в деревенской глуши, где семья жила отнюдь не обособленной от народа жизнью столбового дворянства, наблюдая за «поселянами и поселянками» с балкона помещичьего дома. Юный Плоша много времени проводил со своими деревенскими сверстниками – принимал участие в играх, хороводах. Чреда сельских праздников, повторявшаяся из года в год, согласно древнему календарю пахаря-земледельца, сохраняла многие черты еще языческого быта славян. В праздничных обрядах неизменно находилось место и для подростков – ведь им предстояло прийти на смену предкам, сохранить и передать грядущим поколениям многовековые традиции уклада народной жизни.

Чуткий к поэтическому слову, юный Плоша вслушивался в стихи не только Пушкина или Кольцова, но и безвестных авторов из народа, как бы сказали сегодня – поэтов-песенников, а также разного рода «калик перехожих», исполнявших духовные стихи и былины. В своем деревенском доме от няни и прислуги Плоша слышал старинные сказки, поверья, загадки.

Разумеется, ребенку нелегко полностью погрузиться в мир духовной жизни взрослых людей. Будущему поэту оказалось достаточным лишь прикоснуться к нему, чтобы с годами этот мир властно позвал его к себе, заставил сделаться собственным летописцем. Пока же долгими осенними и зимними вечерами Плоша старательно записывал в тетрадки все виденное и услышанное – загадки к загадкам, сказки – к сказкам. Увы, многие тетрадки пропали при спешной продаже имения, но многое сохранилось в памяти и позднее вошло в книги Аполлона Аполлоновича. Главное, что удалось сохранить и передать поэту, – подлинный внутренний мир, внутренний дух, настрой и мироощущение старой русской жизни.

Ранняя привычка к литературному труду, пусть и в самых простых формах, способствовала выработке у будущего профессионального литератора усидчивости и редакторских навыков, которые впервые оказались применены в стенах Симбирской гимназии, куда юный Аполлон поступил в 1879 году.

Я уже писал, что дед и внук Коринфские порядком разошлись во времени и физически ни разу не встречались, зато в продолжение всего гимназического курса юный Аполлон входил в здание, современный мемориальный облик которого спроектировал именно его дед, перестраивавший гимназию в 1839–1840 годах. Михаил Петрович хотел сделать портик Симбирской мужской гимназии еще более внушительным, под стать разросшемуся зданию, но петербургское начальство сметы на такие коринфские архитектурные излишества не утвердило, поэтому пришлось довольствоваться унылым и плоским фасадом, а портик и вовсе снести. В 1864 году, уже после смерти Коринфского, к зданию был пристроен тамбур, при взгляде на который с тоской вспоминается архитектура эпохи советской оттепели. Полет архитектурной фантазии, пусть даже самый скромный, редко укладывается в прокрустово ложе русской провинции. Не смог ужиться в провинциальной гимназической среде и юный Аполлон Коринфский, хотя нельзя сказать, что был он обыкновенным классным бирюком-изгоем. Более того, в 5-м классе юный Аполлон впервые попробовал себя в качестве редактора и издателя – выпускал и распространял среди гимназических товарищей рукописный журнал «Плоды досуга».

В тот год, когда из стен Симбирской мужской гимназии с триумфом был выпущен Владимир Ульянов, в сем уважаемом учебном заведении случился большой скандал. За «чтение недозволенных книг и знакомство с политическими ссыльными» из выпускного класса гимназии оказался исключен Аполлон Коринфский. Именно его гимназическое начальство во главе

с директором гимназии Федором Керенским, отцом будущего великого масона-либерала и премьера Временного правительства Александра Федоровича, сочло главным революционным элементом. Почему им стал отнюдь не брат повешенного революционера Александра Ильича Ульянова Владимир, кончивший гимназический курс как раз с золотой медалью, а будущий поэт Аполлон Коринфский, от революции немало натерпевшийся, – сказать трудно, хотя кое-что предположить можно. Дело в том, что директор гимназии, как истинный математик, недалеко ушел от знаменитых «физиков-шизиков». Так, он считал, что во всем мире один только он знает математику на пять, а все остальные – исключительно на четыре. Благодаря этому Ильич получил свою единственную четверку в гимназическом аттестате, ну а Коринфский не получил ничего, кроме волчьего билета. Оказалось, что при проклятом царизме и с ним вполне можно жить сносно.

«...Волею судеб и в силу землячества, – вспоминал позднее Коринфский, – мне пришлось провести с ним (годы) в стенах Симбирской гимназии. Оба мы волжане, симбирцы... Илья Николаевич Ульянов, отец его, был довольно заметным на губернском горизонте». Ильич приятельствовал с Аполлоном, бывал у него на съемной квартире, пользовался обширной библиотекой Коринфского, но в выборе книг никак не показывал своих революционных настроений, еще с детства умело вел конспиративную работу и выдавал Лассалья за невинного аббата Прево. Позднее одноклассники ни разу не встретились, и вплоть до осени 1917 года Аполлон Аполлонович никак не подозревал о том, что был знаком с «самым человечным человеком».

Дом в Ульяновске на современной улице Радищева, 2а, где вплоть до отъезда в Москву снимал квартиру Коринфский, вполне сохранился, несмотря на опасную близость к Ленинскому мемориалу и дерево в качестве строительного материала. Это известный в городе дом Харитонов. Как показали исследования краеведа Ю.Д. Ефремова, во времена Коринфского он принадлежал эконому пансиона Симбирской гимназии Д.И. Смирницкому. В начале XX столетия в этом владении жил брат Ленина – Дмитрий Ильич, почему здание и было объявлено памятником истории, а не снесено, подобно большей части исторической застройки родины Ильича.

Выйдя из стен ненавистой гимназии, юный Плоша мог себе ни в чем особенно не отказывать – дед оставил потомству вполне приличное состояние, но в очередной раз оказалось, что «все в жизни театр» и как раз в театр-то Плошу и потянуло. В Симбирске тогда уже существовало одно из лучших в провинции театральных зданий. В 1886 году Коринфского черт попутал на создание собственной театральной антрепризы. Главного антрепризного закона он не знал, не ведал, а ведь сей неписанный законодательный акт и сегодня безотказно действует, так же безотказно принося барыши. С публики драть как можно больше, актерам платить как можно меньше. Плоша был малый честный, романтически настроенный и в актерах видел людей с большой буквы, а не обыкновенных ремесленников сцены. Антреприза 19-летнего Плоши прогорела за один сезон.

Для покрытия долгов он спешно продал родительское имение и с той поры впрягся в лямку журналиста-пролетария, который пишет обо всем – от эпидемии холеры до способов борьбы с жуком-короедом. Платили молодому автору копейки, так что для прокорма приходилось исписывать горы бумаги. Порядка 70 периодических изданий Аполлон Аполлонович украсил своим именем – в качестве автора, а позднее и в качестве редактора. Коринфский обладал немалой силой духа, если за ежедневным бумагомаранием смог еще уделять внимание художественному творчеству, которое очень медленно выходило в его работе на первый план.

Началось все с «Казанского листка», заведующим симбирским отделом которого Коринфский работал в 1887–1888 годах. Впрочем, еще в 1886 году состоялся литературный дебют Аполлона Аполлоновича. Один из мелких петербургских журналов опубликовал его ранние стихотворные опыты, а «Самарская газета» рассказ «Живой покойник». Ахматова

тогда еще не написала своего жуткого предупреждения о том, что все описываемое в стихах и прозе сбывается. Напророчил себе судьбу и Коринфский, живший при Советах именно в должности живого литературного покойника... В приметы все же следует верить, особенно человеку, собравшему и опубликовавшему их такое множество.

Жизнь провинциального журналиста длилась недолго. Постепенно Аполлон Аполлонович сводил знакомство не только с музами, но и столицами. В декабре 1889 года Коринфский перебрался в Москву, а весной 1891-го – в Петербург, где и осел, как ему казалось, на всю оставшуюся жизнь.

Коринфский вошел в круг молодых русских писателей, недолго дружил с И.А. Бунин, приветствовавшим первые стихотворные опыты Аполлона Аполлоновича. В письмах Бунин советовал ему не бросать Музу и как можно больше писать. По мере роста известности Коринфского, его дружба с Буниным убывала, а перед революцией и вовсе сошла на нет. В принципе, и Бунин-поэт вышел из той же, что и Коринфский, поэтической школы, так что его неприязнь к собрату по перу и бывшему приятелю вполне объяснима общностью не слишком щедрых истоков. К тому же оба занимались поэтическими переводами, а переводного хлеба много не бывает – конкуренция. Коринфский, переведший все песни Беранже, не получил особой оценки, тогда как Бунин за перевод «Песни о Гайявате» удостоился части Пушкинской премии. Что-то незримое до конца дней связывало двух поэтов, заставляло думать друг о друге, но встречаться или просто переписываться считали лишним.

В Петербурге Коринфский встретил главную любовь своей жизни – скромную поэтессу, как предполагалось, еврейского происхождения – Мирру Лохвицкую. Его любовные чувства перелились с чувствами поэтическими, а свою поэзию он переплел с поэзией любимой, пытаясь, и не без успеха, использовать ее поэтический язык в собственных поэтических строках, обращенных к Лохвицкой. Она неизменно отвечала, что испытывает к Аполлону исключительно дружеские чувства. Сохранилась и опубликована их переписка, подтверждающая откровенно дружеский и еще больше деловой характер отношений редактора и постоянного автора. У Лохвицкой имелось пятеро детей от законного мужа, но Коринфский все равно в стихах упорно называл ее именем древнегреческой поэтессы Сафо, известной поклонницы жительниц острова Лесбос...

Кончилось все тем, что Коринфский вступил в законный брак с женщиной, как считали в литературном сообществе, подобранной им буквально на улице, словно бы протестуя против неразделенной любви поэта и поэтессы. Жена лишнего не требовала, с благодарностью принимая все то, что приносил муж, а в бедности и старости преданно ухаживала за ним во время ссылки, а потом ходила и за его могилой. Из тверской ссылки, куда его отправило советское правосудие, Коринфский писал своему многолетнему другу – крестьянскому поэту Спиридону Дрожжину: «Моя Марианна Иосифовна в августе недели две провела в Ленинграде – ездила туда кое-что допродать за жалкие гроши из оставшегося у знакомых нашего разгромленного домашнего скарба-хлама, а кстати и повидаться кое с кем... Слава Богу, съездила благополучно, хотя и намучилась в дороге и со всеми хлопотами, связанными с беготней... Я без нее был здесь – как без рук и без ног, а вернее сказать – как без души... Вернулась 25-го числа – опять к нашей общей горькой чаше жизни, к непосильной тяготе тверского существования в нашем обездоленном положении...

Оба мы с нею обнимаем нашего родного Спиридонушку и от объединенного нашего сердца искренне желаем ему быть здоровым и бодрым».

Из этих слов читатель может судить о семейной жизни Коринфских, которую позднее столь образно описал Бунин. Великому, вероятно, виднее, особенно сквозь какого-нибудь очередного Зурова...

В 1894 году вышла в свет первая стихотворная книга Аполлона Аполлоновича, печатавшегося до того в периодических изданиях. Стихи его, особенно лирические, нравились читателю. В них было много старомодного, трогавшего душу, а не классовое сознание. Коринфский принадлежал к поэтам школы и направления А.К. Толстого и А.А. Фета. Работал он много, самозабвенно. Сборники его стихов стали выходить регулярно, некоторые выдержали не одно издание. Коринфский удачно занимался переводами – с польского, французского, армянского, английского. Ему принадлежит полное собрание переводов песен Беранже, «Старый моряк» Колриджа. Переводы Янки Купалы – одни из первых, высоко ценимых автором, состоявшим с Коринфским в переписке. Большой любовью маленьких читателей пользовались стихи, исторические рассказы и зарисовки, написанные Аполлоном Аполлоновичем специально для детей.

Времена интеллигентского нигилизма и безверия отмечены тонкими лирическими стихами Коринфского – православного христианина, воспринявшего народную веру как повседневный разговор человека с Богом, иной раз не совсем совпадавший с формальной жизнью синодальной церкви, составлявшей в дореволюционной России часть государственной машины. В начале XXI столетия духовные стихи Аполлона Аполлоновича оказались неожиданно востребованы и созвучны совсем иному времени, хотя и появляются пока только в периодических изданиях.

Подобно большинству русских писателей начала XX века, Коринфский в пору революции 1905 года увлекся сочинительством «на злобу дня», но печатал свои сатирические творения под псевдонимами. В 1909 году они вышли в свет, собранные в сборник «Под крестною ношей», но никакого следа в демократической мысли не оставили.

Выше всего в собственном творчестве Коринфский ставил цикл «Бывальщин» – исторических стихотворных баллад или рассказов из народной жизни. Они вышли объединенные в несколько книг – «Волга. Сказания, картины и думы», «Бывальщины. Сказания, картины и думы», «В тысячелетней борьбе за Родину. Бывальщины X – XX веков (940–1917 гг.)». Последняя книга появилась на свет в 1917 году в Петрограде и стала своеобразным итогом тридцатилетнего творчества поэта, который вроде бы и не предполагал бросать перо. Заставили...

Мир «Народной Руси» – мир книги, которую предстоит прочесть любознательному читателю, Коринфский знал отнюдь не понаслышке.

Выйдя из гимназических стен, Аполлон Аполлонович в качестве журналиста и собирателя-этнографа объехал, а по большей части обошел многие глухие приволжские и заволжские уголки, записал и исследовал образы народного «поэтического воззрения на природу», тексты произведений календарно-обрядовой и духовной поэзии. Вот далеко не полный перечень губерний, где Аполлону Аполлоновичу довелось побывать с этнографическими экспедициями: Смоленская, Симбирская, Казанская, Олонецкая, Нижегородская...

В предисловии к «Народной Руси» сам автор рассказал, что анонимно публиковал свои этнографические очерки, написанные на материалах поездок и публикаций этнографов, в «Правительственном вестнике» с 1895 по 1899 год, где состоял помощником редактора – знаменитого К.К. Случевского. Очерки-фельетоны не остались незамеченными и читателями, и профессионалами-этнографами, хотя в те времена недостатка в подобного рода сочинениях не наблюдалось. Увы, далеко не всякому этнографу дано владение хорошим литературным языком. Иной раз читателю приходится продираться сквозь такие словесные заросли... А тут этнографическую прозу писал хороший поэт, потому-то и вышла из-под его пера проза поэтическая, очаровавшая читателя. Не знаю, владел ли Коринфский иными, кроме поэтических, «навыками чарами»... Похоже, что владел.

Очерки охотно перепечатывали провинциальные издания, их переводили на иностранные языки. Великая княгиня Милица Николаевна в официальном порядке запросила редак-

тора «Вестника», «будут ли фельетоны изданы отдельной книжкой». Алексей Сергеевич Ермолов, тогдашний министр земледелия и государственных имуществ, выразил желание познакомиться с неизвестным автором и очень одобрил его работу, почему Коринфский и счел нужным посвятить ему книгу. Сам Ермолов был не только видным сановником, но и этнографом-собирателем. Его «Народное погодоведение» и другие книги пользовались и пользуются сейчас заслуженной любовью читателей, хотя поэзии в них нет ни на грош.

Издal «Народную Русь» московский книгопродавец М.В. Клюквин в 1901 году. Питерских не нашлось. Этнографические материалы Коринфского вошли в его другие книги – «Трудовой год русского крестьянина» и «В мире сказаний. Очерки народных взглядов и поверий».

Творчество Аполлона Коринфского, как поэтическое, так и прозаическое, записным критикам рубежа XIX и XX столетий не нравилось. Читатель, голосовавший рублем, раскупал поэтические и прозаические книги автора в нескольких изданиях. Коринфский-стихотворец принадлежал к направлению поэтов второго ряда, которых мало волновали «больные вопросы русской жизни», почему и сами они мало волновали «прогрессивных» критиков, хотя они и сочинили порядка 400 критических статей, так или иначе отозвавшихся на творчество поэта. Записных либерально-демократических критиков задевало народное признание Коринфского, широкое распространение его произведений, особенно в провинции.

Коринфский не оставил собственной поэтической школы, но его творчество оказало большое влияние на поэтов из народа, сердцем понимавших, что учиться надо не у декадентствующей интеллигенции с ее изломами и изысками, а у тех поэтов-профессионалов, кто разговаривает с читателем «голосом сердца». Не случайно среди ближайших друзей Коринфского оказался Спиридон Дрожжин – крестьянский поэт, происходивший из самых народных глубин. Коринфский написал и опубликовал несколько критических очерков, посвященных поэтам из народа, тем самым поддержав их, отнюдь не избалованных вниманием всякого рода корифеев либеральной критики, присвоивших себе исключительное право казнить и миловать на литературном Парнасе. «Записные критики» ставили и самого Коринфского обыкновенно в третий поэтический ряд.

Так же равнодушно относились к Коринфскому и многочисленные представители «литературного мира» предреволюционного времени. Читаешь немногочисленные воспоминания о Коринфском и поражаешься тому, что их сочинители стихов самого поэта, за редким исключением, явно не читали и через них явно не пытались понять Коринфского-человека. Их интересовала только внешняя, божественная сторона жизни. В редакционном интернет-портфеле журнала «Наше наследие» опубликована рукопись воспоминаний третьестепенного петербургского литератора Николая Александровича Карпова (1887–1945), оконченная в 1939 году (из собрания РГАЛИ). Он сам весьма остроумно определил свое собственное место в литературе, назвав воспоминания «В литературном болоте». Вот как представлялся Коринфский со dna питерского болота одному из его обитателей. Кстати, не исключено, что легенда о помещике и коринфском стиле, частенько встречающаяся в печатной биографии поэта, восходит к самому Аполлону Аполлоновичу, не слишком склонному к откровениям с малознакомыми людьми. В обществе он явно предпочитал театральную маску, а уж что за ней скрывалось...

«Особым искусством находить меценатов обладал поэт Аполлон Аполлонович Коринфский. Небольшого роста, с длинными, до плеч, рыжими кудрями и пышной, раздвоенной на конце бородой, одетый в сюртук, боковые карманы которого оттопыривались от рукописей и книг, он просиживал в ресторане в компании до закрытия, докучая собутыльникам чтением своих стихов.

Коринфский – не псевдоним, такова была настоящая фамилия рыжекудрого поэта. Этой фамилией наградил его отца – крепостного – самодур помещик, вдобавок, в насмешку, навя-

зав ему имя греческого бога. Отец, по странному капризу, назвал Аполлоном и сына, хотя с греческим богом поэт имел весьма отдаленное сходство. Из существ, созданных фантазией, он скорее походил на потешного гнома.

Коринфский и пил, и работал, как говорится, запоем. Засядет, бывало, у себя в кабинете недели на две и пишет стихи, вытягивая длинейшую ленту. Овладев элементарной техникой стихосложения, писал без срывов и достижений банальные, без ярких образов, тусклые и неинтересные вещи. Печатался главным образом в изданиях Сытина, Сойкина и Маркса и ухитрялся издавать толстые, как кирпич, на хорошей бумаге, сборники своих произведений.

Наработавшись вдоволь и исчерпав вдохновение, Коринфский «продавал», как он сам выражался, новые рукописи издателям, получал деньги и «пускался во все тяжкие». Когда он появлялся в ресторанах, вокруг него сразу образовывалась компания прихлебателей, любителей попить и поесть на чужбинку. Когда кошелек поэта истощался, он вскакивал и исчезал, бросая на ходу:

– Подождите, я сейчас разыщу какого-нибудь мецената.

Он пробегал по ресторанным залам, заглядывал в отдельные кабинеты и почти всегда возвращался с незнакомцем, которого торжественным тоном представлял компании:

– Вот вам меценат, прошу любить и жаловать. Угостит водкой, а может, расщедрит и на коньячок. А ты, дядя, не скупись. Раз хочешь сидеть за одним столом с писателями – за эту честь и удовольствие нужно платить!

Меценат присоединялся к компании и вынужден был раскошеливаться. Иногда это был богатенький студент, иногда чиновник или служащий какой-нибудь коммерческой фирмы, а однажды в роли мецената очутился запьянствовавший швейцар какой-то гостиницы. Надо ему отдать справедливость, он оказался щедрым и заплатил по счету порядочную сумму. Впрочем, швейцары гостиниц имели большие доходы и часто, не бросая службы, являлись крупными домовладельцами и в конце концов становились богаче своих хозяев.

После закрытия ресторанов в три часа ночи Коринфский обычно предлагал компании отправиться в ночную чайную. Ночные чайные открывались в четыре часа утра, а иногда торговали без перерыва и днем и ночью.

– Стоит ли? – не решались продолжать кутеж собутыльники. – Чаю мы твоего не видели!

– Чаю? – обиженно восклицал Коринфский. – Да что вы – вчера родились? Младенчики? Нам там беленького чайку в чайниках с почтением подадут! Наконец, а это что?

И он с торжеством извлекал из необъятного кармана своего потертого сюртука запасливо захваченную в ресторане бутылку коньяку. Этот аргумент сразу разрешал все сомнения.

В ночной чайной, среди извозчиков, проституток, сутенеров, воров, газетчиков и шоферов, компания усаживалась и сидела чуть ли не до полудня, закусывая «белый чай» дешевым рубцом, который завсегдатаи чайной называли «рябчиком». Расходились сонные и обалдевшие, чтобы встретиться снова вечером в кабаке.

Такова была жизнь большинства рядовых писателей. Жизнь без идеалов, без идей, без руля и без ветрил. Днем – редакции, выклянчивание авансов, вечером – кабак.

Как-то в литературной компании я выразил сомнение в праве писателя пользоваться угощениями и мелкими подачками так называемых меценатов. На меня посмотрели как на наивного чудака и снисходительно разъяснили мне, почему можно даже требовать угощение от меценатов. Разъяснения эти сводились к следующему:

– Писатель своими произведениями приносит огромную пользу обществу, но труд его оплачивается очень низко, на гонорар он существовать, тем более пьянствовать, не может. Кроме того, у него бывают периоды, когда на продолжительное время его оставляет вдохновение. Наконец, он может даже маленькое стихотворение обдумывать полгода. Святая обязанность общества в лице меценатов, любителей литературы, всемерно поддерживать писателя,

вплоть до графина водки и десятки займы без отдачи. Писатель выше толпы, он избранник, почти жрец. Его должно поддерживать общество, он вправе от него этого требовать.

Жалкие были мысли у прежних «инженеров человеческих душ», жалкие нравы и жалкие меценаты».

Несколько иные слова звучали декабре 1911 года, когда отмечался 25-летний юбилей литературной деятельности Коринфского. «Русское общество от мала до велика, русская интеллигенция и народ – все в наших песнях нашли и находят выражение своих чувств...», «Ваша нежная душа, незлобивое сердце, готовность всегда прийти на помощь ближнему вызвали ту любовь, которая собрала нас всех сюда, объединив в дружную семью...», «Чистый служитель искусства, хранитель заветов бессмертного Пушкина, прямой наследник Алексея Толстого и Льва Мея, Вы за четверть века неустанной работы внесли драгоценные вклады в сокровищницу родной литературы...», «Воскрешая старую Русь с ее величавым эпосом, Вы являетесь то торжественным баяном, то веселым гуслиаром».

Итоги своей творческой жизни Коринфский подвел в начале 1918 года, напечатав последние строки. Затем последовало почти двадцатилетнее вынужденное молчание. Его творчество не пришлось к большевистскому двору. Не помогло даже давнее знакомство с Ильичом, которым Коринфский воспользовался, впрочем, лишь в самую голодную пору жизни. Надо заметить, что поэта не любили не столько власти, сколько собраты по перу, искренне завидовавшие его былой славе. Властям долгое время было плевать – и сам помрет, если выразиться прилично.

Вот еще характерный образчик гаденького взгляда на старика-поэта (едва за пятьдесят!), который без стеснения тиражировался в советское время, когда воспоминатели твердо знали, что разрешено печататься исключительно им, а не каким-то старорежимным сочинителям вроде Аполлона Аполлоновича. В обширном сборнике воспоминаний о великом К.И. Чуковском помещены такие любопытные строки, относящиеся к Петрограду первых лет Гражданской войны. Их автор – И.А. Бродский, племянник выдающегося советского живописца Исаака Израилевича Бродского.

«Корней Иванович всегда охотно знакомил меня с Людьми чем-нибудь интересными, как бы угощал меня ими... А однажды представил меня старику, очень прозаично выглядевшему, несшему в заплечном мешке картошку. Это был поэт Аполлон Коринфский.

– Вас еще не было на свете, а Аполлон Аполлонович уже был на поэтическом Олимпе... – сказал мне Корней Иванович.

– Я давно уже опустился на землю, по которой еле хожу... Но скоро вознесусь опять и очень высоко, – грустно сказал старый поэт.

– Живите, живите и не думайте об этом. Вы поэт Божьей милостью... Вы так много сделали и еще сможете сделать для русской поэзии...

Чуковский щедро зависил заслуги Коринфского перед отечественной литературой, и когда мы попрощались с ним, Корней Иванович «отредактировал» сказанное.

– Я хотел сказать – поэт Божьей милостыни... Признаюсь, покривил душой, но уж очень хотелось поддержать старого литератора. А Коринфский действительно был еще в девяностых годах, наряду с Фофановым, очень популярным поэтом, но, конечно, дарование его небольшого калибра. Этот Аполлон был служителем «чистого», «возвышенного» искусства, и теперь ему после заоблачных высот живется очень трудно... Хотя начинал он как поэт-демократ...»

Действительно, отход от «демократических» традиций во все времена обходится недешево... «Демократы», выросшие на книгах «доброго дедушки Корнея», превосходно умеют мстить, и не только в воспоминаниях. Не обошли они своим пристальным вниманием и старика Коринфского. «Колыбель революции» не вынесла его присутствия на улицах «великого города», и поэту пришлось перебраться на жительство в дачный пригород Петрограда – Лигово. Здесь ради хлеба насущного он трудился на самых разных незаметных должностях.

До последнего времени имелось совсем немного сведений о поздних годах жизни Коринфского и о причинах переезда в Тверь так сказать не совсем добровольного порядка. Понятно, из Петрограда его, как и многих бывших, выгнал голод. В Лигове же подвела поэта «общественная жилка», вечное стремление людей предреволюционных лет к «сеянию разумного, доброго...». Еще как-то не привыкли к тому, что заниматься «сеянием» среди сексотов небезопасно, а точнее – смертельно опасно.

Зато не подкачало чуткое классовое чутье сотрудников Ленинградского «Большого дома». 14 ноября 1928 года скромный библиотекарь Аполлон Коринфский подвергся аресту. Времена еще стояли вегетарианские, Кирова убить не успели, поэтому бывший поэт в наказание за свою антисоветскую деятельность получил всего лишь трехлетнюю ссылку в Тверь, где и остался на веки вечные.

В Твери уже в наши дни многое делается для изучения и сохранения творчества поэта, восстановления светлой о нем памяти. Опубликовано несколько небольших воспоминаний о тверском периоде жизни Коринфского и исследований, посвященных «темным местам биографии».

Приведу большой отрывок из превосходной статьи «Сторонник величия России» тверского исследователя А.М. Бойникова, опубликованной в журнале «Мономах». Автору было доступно следственное дело поэта, а такого рода документы лучше не пересказывать, а воспроизводить возможно ближе к оригиналу.

«С 1918 года поэт вместе с женой Марианной Иосифовной жил в поселке Лигово под Ленинградом. Не имея возможности обеспечить семью литературным заработком, он в 1917–1920 годах состоял на службе корреспондентом в Просветительском Комитете, в редакционной Коллегии Всеобуча, в отделе учета лавок Петрокоммунии, а с ноября 1920 года стал библиотекарем 54-й Трудовой Советской школы в Петрограде-Ленинграде.

Биография А.А. Коринфского может показаться достаточно хорошо изученной, хотя это далеко не так. Мало известны последние годы его жизни, связанные с Тверским краем.

В 1929 году семья Коринфских переезжает с прежнего места жительства в Тверь. Данный факт неоднократно упоминался исследователями, однако причины этого неожиданного поступка не раскрыты даже в новейших публикациях. Отчасти проливает свет на это обстоятельство небольшая биографическая справка на Коринфского, составленная Е.Е. Шаровым, в которой говорилось следующее: «В 1927 году А.А. Коринфский, вследствие неблагоприятных для него обстоятельств, вынужден был из Ленинграда перебраться на постоянное жительство в Калинин, где и прожил около 10 лет, работая корректором типографии «Калининская правда».

Окончательно стирает это «белое пятно» в биографии А.А. Коринфского знакомство с уголовным делом «по обвинению группы подпольной контрреволюционной организации», которое было заведено Полномочным представительством ОГПУ в Ленинградском военном округе 14 ноября 1928 года и окончено 23 февраля 1929 года. Уже сроки его ведения доказывают, что А.А. Коринфский не мог переехать в Тверь в 1927 году.

Основанием для возбуждения дела послужили материалы оперативной разработки под условным наименованием «Литовцы». Список обвиняемых, в котором арестованный 14 ноября 1928 года А.А. Коринфский значился под номером 13, насчитывал 17 человек. В постановлении о принятии дела к производству констатировалось, что «указанные лица принимали участие в контрреволюционной работе группы монархистов».

Суть обвинения «литовцев» сводилась к следующему: «...в 1918 г. в г. Лигово, ныне Урицк, Ленинградского округа, был организован спортивный клуб «Орион». Так как клуб являлся единственным легальным органом, которым можно было бы прикрывать антисоветскую деятельность, то вокруг его (так в документе) быстро сгруппировались бывшие люди: дворяне, офицеры, бывшие чиновники, священники, жандармы и прочие...

После закрытия клуба лица с явными монархическими убеждениями перенесли свою деятельность в подполье – под видом «семейный литературный кружок». Следствием установлено, что кружок был монархического направления».

Из показаний Н.П. Вельяминова, бывшего дворянина: «Характеризуя группу этих лиц в целом, считаю, что группа эта, уходя в свои закрытые собрания, как бы изолируясь от общест-венности, была, конечно, по одному этому антисоветской. Содержание произведений отдель-ных лиц этого кружка было настолько далеко от тем, созвучных нашему времени, что кружок этот, можно сказать, имел девизом «Всё в прошлом».

Весьма красноречивы и имеющиеся в деле отметки о политических убеждениях ряда членов кружка: «славянофил», «националист», «националист-демократ», «ярый монархист и антисемит».

Понятное дело: участники кружка – «осколки старого мира» – хотя и относились к кате-гории «бывших», жили отнюдь не прошлым, а животрепещущим настоящим. Собираясь на квартирах друг у друга, они обсуждали внутреннюю ситуацию в стране, читали нелегально доставленные в СССР зарубежные газеты, декламировали свои литературные произведения.

Именно литературно-творческая атмосфера собраний и привела в кружок Аполлона Коринфского. Лишённый после революции возможности не только жить писательским трудом, но и хотя бы просто печататься, он хотел чувствовать себя поэтом и найти благодарную чита-тельскую аудиторию.

Из материалов дела усматривается, что его приглашение в кружок состоялось в 1922 году. Душевно ободрённый, Коринфский активно выступал там с чтением прежних и вновь напи-санных стихотворений, рассказывал о себе и своём творчестве. В благодарность члены кружка 14 декабря 1923 года организовали «домашнее празднование» 35-летия его литературной дея-тельности.

Следствие усиленно искало в действиях Коринфского состав преступления и, есте-ственно, нашло его.

Во-первых, поэта обвинили в том, что в мае 1928 года на могиле покончившего само-убийством члена кружка Константина Иванова он «прочитал в присутствии приблизительно 30–40 человек стихотворение антисоветского содержания «Ушедший самовольно». Во-вто-рых, Коринфскому инкриминировали сотрудничество с издаваемым в Латвии журналом «Ого-нёк», где в 1924 году были перепечатаны несколько его дореволюционных стихотворений и переводов из Яна Райниса.

Политические воззрения А.А. Коринфского были определены следствием как «сочув-ствующий народническому движению». Весьма интересна характеристика его общественных взглядов, данная одним из свидетелей (этот человек явно был внедрён в кружок агентом ОГПУ): «Коринфский. Типичный и убеждённый сторонник величия России или в духе наро-довольцев, или в духе свободного народа, но без Советской власти. Писал стихотворения анти-советского характера».

В деле отсутствуют какие-либо литературные произведения Коринфского, поскольку имеется его собственноручная расписка: «Вещественные доказательства, отобранные у меня при обыске 14-го ноября 1928 года, получил. Аполлон Коринфский».

28 ноября 1928 года поэт был привлечён по делу в качестве обвиняемого, поскольку «по предварительному дознанию, сведения о его участии в контрреволюционной группе монар-хистов подтвердились». Мерой пресечения было избрано содержание под стражей, однако в связи с тем, что пребывание его на свободе не может повлиять на дальнейший ход следствия, Коринфский 7 декабря 1928 года из-под стражи освобождён. Он был лишён права проживания в Москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, Одессе, Ростове-на-Дону.

Аполлон Коринфский получил самое мягкое наказание. Из 17 осуждённых трое были приговорены к расстрелу, десять – к заключению в концлагерь сроком на пять и десять лет,

один – к 6 шести месяцам тюрьмы, двое – к высылке на Урал и в Вологду. Главную роль здесь сыграло наличие у поэта ряда хронических заболеваний. В акте его медицинского освидетельствования значился вывод: «К месту высылки следовать может. Желательно направление в местность не с суровым климатом и обеспеченную врачебной помощью».

В отличие от врачей, следователи ОГПУ не были столь гуманными. В обвинительном заключении, «принимая во внимание болезненное состояние и преклонный возраст» Коринфского, предлагалась «высылка в отдалённые места СССР сроком на 3 года с прикреплением к определённому месту жительства».

При определении будущего места высылки А.А. Коринфский обладал некоторой свободой выбора. По всей видимости, поэт выбрал Тверь, чтобы лично общаться со своим старейшим другом С.Д. Дрожжиным, который доживал свои дни в родной Низовке, вблизи от города. Выйдя из тюрьмы, Коринфский сразу же сочинил тёплое стихотворное послание к его 80-летнему юбилею.

Дрожжин знал о предстоящей высылке и писал И.А. Белоусову 2 июня 1929 года: «Друг мой Ваня! Друг нашей молодости и последней утасяющей жизни Аполлон высылается административным порядком из Ленинградского округа и просит меня устроить его в Твери. Но я ему написал, чтобы он приехал ко мне и засел к столу писать по Твоему примеру свои мемуары. Положение его не могу тебе высказать какое бедственное – он как безработный теперь получает всего 14 руб. 50 коп. в месяц да и эту ничтожную сумму на днях жулики вытащили у него из кармана... Неужели даром он с лишком 40 лет стоял на посту писателя и мало послужил делу народной свободы и просвещения? Грустно. Нынешним летом меня обещал посетить А.М. Горький, который на днях избран членом ЦИК, и я его буду просить принять посильное своё участие, чтобы облегчить бедственное положение нашего друга...»

А.А. Коринфский прибыл в Тверь, вероятно, в начале июня 1929 года. Потратив какое-то время на бытовое обустройство, он спешит в гости к Дрожжину. Этот приезд Коринфского в Низовку стал не только апофеозом 40-летней дружбы двух поэтов, но и актом гражданского мужества со стороны Дрожжина. По поводу ареста и суда над своим другом С.Д. Дрожжин оставил в дневнике однозначную запись: «Мой старейший друг – поэт А.А. Коринфский, один из лучших после Некрасова певцов народной свободы, обвинён по ложному доносу в неблагонадёжности и теперь лишённый права жительства в Ленинградском округе, 17 июня приехал ко мне в Низовку, прожил до 30 числа и, уезжая на жительство в Тверь, оставил в моём новом альбоме записей посещающих меня друзей, читателей и знакомых, целый ряд вдохновенных стихотворений».

Живя в Твери-Калинине, супруги Коринфские хронически бедствовали. Источниками дохода были небольшая пенсия и мизерные заработки. Особенно тяготило поэта клеймо «административно высланного».

В 27-м выпуске «Альманаха библиофила» (М., 1990) напечатан рассказ о встрече с Коринфским сотрудника Библиотеки им. Ленина Н.Н. Ильина. Вернувшись из ссылки, куда он попал в сентябре 1930-го по так называемому «академическому делу», Ильин поселился за 101-м километром от Москвы («минус шесть»), в Твери, на квартире местного кооператора и библиотекаря Николая Оттовича Широкого. «Через него я, – вспоминал Ильин, – познакомился с известным поэтом Аполлоном Коринфским, доживавшим тогда вместе с женой свои дни в Твери в забвении и большой нужде.

Однажды к моему хозяину зачем-то явился на редкость красивый старик, несмотря на явную свою дряхлость, державшийся чрезвычайно прямо и одетый в сильно поношенное, но когда-то щегольское пальто и итальянскую, с большими полями шляпу. «Аполлон Аполлонович Коринфский», – представил мне его Николай Оттович. Седая выющаяся шевелюра обрамляла высокий лоб гостя. Его пышные длинные усы, подстриженная по-ассирийски борода были белы, словно снег, и почти элегантны. Но выразительные когда-то большие голубые глаза

смотрели теперь безжизненно и тускло и делали все лицо похожим на маску. Единственный проблеск чувства мне удалось уловить в его погасшем взгляде, когда Коринфский заговорил о заветном своем желании занять место на литературских мостках Волкова кладбища. Стихов Коринфский более не печатал. После Октябрьской революции в его поэзии не нашлось нот, созвучных ей. Единственным источником существования «бывшего поэта» была нищенская пенсия, которую он сумел выхлопотать, доказав свой многолетний литературный стаж. По временам ему удавалось получать корректуру из имевшейся в Твери типографии, где набиралась местная газета. Но с развитием бумажного кризиса этот заработок стал реже.

Коринфский учился когда-то в Симбирской гимназии и был одноклассником В.И. Ленина. Кто-то надоумил поэта написать воспоминания о товарище своих школьных лет, обещая пристроить их в местной газете. Но из-под пера Коринфского воспоминания эти вышли столь бледными и бессодержательными, что печатать их не решились. Второй раз я встретил Коринфского на рынке, несколько взволнованного. Еще в 1926 году он сделал 100-рублевый «целевой» взнос на молоко, но до сих пор ни капли его не получил. Вчера он узнал, что деньги можно взять обратно, и торопился это сделать. С этими словами Коринфский скрылся из моих глаз навсегда». (Видимо, опечатка, не в 1926, а 1930 году.)

На самом деле воспоминания Коринфского про гимназические годы Ильича, вероятно, писались дважды, и дважды автор предпринимал попытку их напечатать. Первый раз мемуарный очерк появился в петроградской «Вечерней газете» в июне 1918 года и замечен не был – не до того. Второй раз Коринфский попытался рассказать о гимназической жизни вождя мирового пролетариата уже в Твери. Писал ли он для этого воспоминания заново или использовал старую рукопись – утверждать наверняка нельзя. В двух (а не одном, как иногда пишут) номерах «Тверской правды» за январь 1930 года были опубликованы его нехитрые рассказы, не имевшие никакого политического подтекста, но... «страха ради иудейского» сверху приказали печатание прекратить. На этом публичная литературная деятельность Коринфского прекратилась уже навсегда.

Умер Аполлон Аполлонович в приснопамятном 37-м году, 12 января, но своей собственной смертью, что по тем весьма кровавым временам уже можно почитать за счастье.

Вот что рассказал об этом в воспоминаниях тверской писатель и журналист Борис Бажанов, посвятивший Коринфскому большой очерк, из которого привожу только короткий отрывок. «В июне 1937 года мы похоронили на бывшем Затверецком кладбище нашего бывшего квартиранта Беклемишева (тоже «АВЕ» – административно высланный). Идя к выходу по главной аллее, я вдруг увидел направо, недалеко от сторожки в кустах сирени, еще свежую могилу. Посередине насыпи вбита палка, а на ней укреплен фанерка с надписью: «А.А. Коринфский. Ум.[ер] 12 янв.[аря] 1937 70 лет». Через год вокруг его могилы чьи-то руки поставили железную ограду и деревянный крест. Он несколько раз (в последний раз – еще в годы войны) менялся – старый на новый.

Сейчас (1968 г.) он очень обветшал, но еще стоит. Четкая, краской подпись на железной дощечке гласит: «Поэт АПОЛЛОН КОРИНФСКИЙ – родился 29 августа 1867 года, умер 12 января 1937 года. Храни, Господь, народные твердыни – живи вовек, родная мне страна! А.К.». <...>

В 1963 году я попросил местного фотографа В.М. Егорова сделать снимок с могилы А. Коринфского. Этот снимок я препроводил в местное отделение С[оюза] П[исателей] с просьбой позаботиться о могиле поэта и чем-либо отметить столетие со дня его рождения. Насколько мне известно («на сегодняшний день», т. е. 13 авг.[уста] 1968) никакой работы и отметки наши калининские парнасцы не проявили (я хочу сказать: не проявили об А. Коринфском)». Следует обратить внимание на то, что автор воспоминаний воспроизвел надпись на дощечке явно не по памяти, а по фотографии. Разумеется, Марианна Иосифовна могла запомнить дату рождения мужа, но указан семидесятилетний возраст умершего, то есть умершего на 70-м году жизни, что спутать несколько труднее.

Марианна Иосифовна, вдова поэта, умерла в Москве в конце 1960-х или начале 1970-х годов. Вероятно, она была несколько младше супруга. К тому же известно, что женщины живут обыкновенно дольше мужчин. Сохранились и частью опубликованы ее письма к одной из тверских знакомых, в которых Марианна Иосифовна делилась воспоминаниями о муже.

В заключение приведу два обширных высказывания, как бы официально подводящих итоги жизни и творчества Аполлона Аполлоновича Коринфского.

Бывший друг и будущий Нобелевский лауреат Иван Алексеевич Бунин в дневнике, явно рассчитанном на прочтение хотя бы отдаленными потомками, оставил о Коринфском такую едкую запись. Вот так она выглядит частью в пересказе Веры Николаевны Буниной-Муромцевой, супруги писателя, которая обыкновенно удачно вторила мужу.

1916 год, 23 февраля. «Милый, тихий, рассеянно-задумчивый взгляд Веры, устремленный куда-то вперед. Даже что-то детское – так сидят счастливые дети, когда их везут. Ровная очаровательная матовость лица, цвет глаз, какой бывает только в этих снежных полях.

Говорили почему-то о Коринфском. Я очень живо вспомнил его, нашел много метких выражений для определения не только его лично, но и того типа, к которому он принадлежит. Очень хорошая фигура для рассказа (беря опять-таки не его лично, но исходя из него и сделав, например, живописца-самоучку из дворовых). Щуплая фигурка, большая (сравнительно с нею) голова в пошло-картинном буйстве коричневых волос, в которых вьется каждый волосок, чистый, прозрачный, чуть розовый цвет бледного лица, взгляд как будто слегка изумленный, вопрошающий, настороженный, как часто бывает у заик и пьяниц, со стыдом всегда чувствующих свою слабость, свой порок. Истинная страсть к своему искусству, многописание, вечная и уже искренняя, ставшая второй натурой, жизнь, в каком-то ложнорусском древнем стиле. Дома всегда в красной косоворотке, подпоясанной зеленым жгутом с низко висящими кистями. Очень религиозен, в квартирке, бедной и всегда тепло-сырой, всегда горит лампадка, и это опять как-то хорошо, пошло связывается с его иконописностью, с его лицом христосика, с его бородкой (которая светлее, русее, чем волосы на голове). И жена, бывшая проститутка, настоящая, кажется, прямо с улицы. Он ее, вероятно, страстно любит, при всей ее вульгарности (которой он, впрочем, не замечает). Она его тоже любит, хотя в тайне порочна (чем сама мучается) и поминутно готова изменить ему хоть с дворником, на ходу, на черной лестнице».

С большой любезностью и истинным пролетарским интернационализмом Бунину вторила советская Литературная энциклопедия, изданная в 1931 году Коммунистической Академией, хотя с Советами у Бунина в эти годы идеологические отношения вроде бы еще никак не клеились. Коринфского советским энциклопедистам казалось как-то неудобно совсем уж обойти вниманием, не сказав о нем ни слова, даже ругательного – все же поэт со своим голосом и именем в старой России. Г.Ч. – автор энциклопедической статьи – сообщал читателю, что Коринфский, «выйдя из пореформенного мелкого поместья, находясь на грани превращения в мелкобуржуазного интеллигента, остается выразителем настроений утратившего свое культурное господство дворянства 90-х гг. Лирика его созерцательна, преобладают описания одухотворенной и всецельной природы. Окружающая жизнь представляется К. сплошным разрушением, в развитии капитализма он видит лишь хищническое нарушение гармонической красоты природы и предсказывает ему гибель... В согласии с теорией «малых дел» К. заботится об утолении духовного голода народного, сохраняя уверенность в том, что «весь народ одною верою живет – той верой, что лишь знание – свет»... От противоречивости настоящего взоры его обращаются к гармоничности прошлого, от уныния и бездеятельности – к бодрости духа храбрых и мудрых удельных князей, творящих историю своего княжества. В атмосфере войны 1914 г. К. пишет ряд проникнутых национализмом бывальщин из жизни ряда славянских народностей, где князь ценою своей жизни спасет родину.

Кроме стихотворений К. писал рассказы, литературно-критические этюды и этнографические очерки, не представляющие сколько-нибудь значительного интереса». А дальше следует обширная, хоть и, разумеется, основательно сокращенная, библиография, дореволюционная, естественно.

Долгое время добавить к этому было практически нечего, разве что слова известного советского литературоведа, составителя книги дневников Бунина, авторитетно сообщавшего, что Коринфский «в эмиграции оставил воспоминания литературно-политического характера». После Великой Отечественной войны Бунин, хоть и с большими оговорками и купюрами, получил право на возвращение в отечественный литературный процесс. Коринфскому же пришлось немного подождать – «эмигрировал-то в Тверь!» Ждал всего 57 лет после смерти, дабы 3 июня 1994 года получить реабилитацию.

В 1995 году в издательстве «Московский рабочий» вышел в свет его главный труд «Народная Русь» с предисловием А.Н. Стрижева. Инициатором издания и составителем книги стал выдающийся московский краевед Виктор Васильевич Сорокин, чьим небесным покровителем, им очень почитаемым, был древний дамаский мученик Виктор Коринфский... «Народную Русь» взяли из домашней библиотеки Виктора Васильевича, очень скромной и тщательнейшим образом подобранной, где лишних книг не водилось.

...

*Поздно! Цветы облетают,
Осень стучится в окно...
Поздно! Огни догорают,
Завечерело давно...*

*Поздно... Но что ж это, что же, —
С каждой минутой светлей,
С каждым мгновеньем дороже
Память промчавшихся дней!..*

*В сердце нежданно запала
Искра живого тепла:
Все пережить бы сначала
И – догореть бы дотла!..*

10 октября 1894

Поэтическое пророчество исполнилось. Коринфский догорел не просто дотла. И праха не осталось от Аполлона Аполлоновича. Его могила, место которой тверские ценители его творчества знали еще в начале 1970-х годов, теперь утрачена. Как считают краеведы – навсегда, поскольку способов борьбы с коттеджами даже на бывших кладбищах нет, ибо новых русских не пугают ни привидения, ни смертельные болезни. Всё живописный берег Волги, столь любимой поэтом с детства...

И только книги Коринфского, как и прежде, зажигают в сердцах читателей «искру живого тепла».

А что же солнце, вынесенное в название вступительной статьи, спросит читатель? В переводе с греческого, который Коринфский учил в гимназии, его имя – Аполлон – означает не только яростный и губительный, но и подобный Солнцу. Наверное, Аполлону Аполлоновичу такое поэтическое сравнение, даже с заходящим солнцем, было бы приятно.

А. В. Буторов

Посвящается Алексею Сергеевичу Ермолову

...

*«Слово сказаний живых,
Мощное, вечное слово —
Светлый, кипучий родник,
Кладезь богатства родного!..»*

...

*«...старый таинственный сказ,
Словно странник с клюкою, в народе
Ходит-бродит, пророча порой...»*

...

*Нет ему ни в чем помех!
Это – славный русский витязь,
Богатырь последний – Смех...»*

Предисловие

Настоящая книга – плод более чем двадцатилетних наблюдений за современным бытом крестьянина-великоросса, дополненных сравнительным изучением всех ранее появившихся в печати материалов по русской и славянской этнографии.

Самостоятельные наблюдения сосредотачиваются преимущественно на нижегородско-самарском Поволжье (губерниях Нижегородской, Казанской, Симбирской, Самарской). Волгу я изъездил вдоль и поперек, на берегах ее провел детство, юность и раннюю молодость, поставившие меня лицом к лицу с народной жизнью, объявшей меня неотразимым дуновением самобытной поэзии ярких преданий прошлого.

С юношеских лет стали наполняться одна за другой мои записные тетради – то пословицами, поговорками и ходячими народными словами, то отрывками деревенских песен, то содержанием подслушанных сказок.

Часть этих тетрадей, к сожалению, утратилась бесследно; уцелевшие послужили мне поводом к написанию – во «Всемирной Иллюстрации», «Ниве», «Севере» и других журналах – первых (если и вошедших в настоящую книгу, то только в качестве материала) беглых замечаний о русских простонародных суеверных обычаях, связанных с различными праздниками и временами года.

Семь лет тому назад у меня появилась мысль об изучении русского народоведения – с целью более подробной разработки накопившегося в тетрадях и в памяти материала. Близкому ознакомлению с богатой литературой этого вопроса, начиная с древних первоисточников и кончая новейшими исследованиями, я в немалой степени обязан предупредительной любезности, встреченной мною со стороны заведующего Русским Отделением Императорской Публичной Библиотеки – Владимира Петровича Ламбина. Дстойная всякого уважения личность этого человека хорошо известна всем работникам пера, которым приходилось за последнее десятилетие пользоваться сокровищами, собранными в государственном книгохранилище.

В конце 1895 г. был напечатан в фельетоне «Правительственного Вестника» первый мой очерк, посвященный бытописанию народной Руси; в 1896 г. за ним последовало несколько новых, а с конца 1897 г. по настоящее время они стали появляться периодически, постепенно слагаясь в нечто цельное; к 1899 г. созрел уже и общий план всего труда.

Бесчисленные перепечатки, которыми встречала столичная и провинциальная печать каждый, появлявшийся без всякой подписи, очерк, и переводы некоторых из них на французский и немецкий языки служили для меня достаточным побуждением к написанию дальнейших, – причем зарождалась уже и мысль о приведении всего этого материала в известный порядок и об издании книги.

Внимание, совершенно неожиданно оказанное этнографическим фельетонам «Правительственного Вестника» Ее Императорским Высочеством Великой Княгиней Милицией Николаевной, пожелавшей узнать имя автора и запросившей особым отношением, через адъютанта Его Императорского Высочества Великого Князя Петра Николаевича, барона Стааль, редакцию газеты, «будут ли эти фельетоны изданы отдельной книжкой», укрепила меня в этой мысли, которая, однако, была еще далека от осуществления. Письма, полученные от Министра Земледелия и Государственных Имуществ А.С. Ермолова, оказавшегося постоянным читателем этих очерков-фельетонов и выразившего желание лично познакомиться с их автором, явились высокой наградой за мой безымянный труд. Ободряемый добрыми советами и благими пожеланиями столь осведомленного читателя, я и приступил к изданию этой книги.

Более полугода потребовалось на систематическую обработку напечатанных фельетонов, на дополнение их новыми очерками, также появившимися в «Правительственном Вестнике»

благодаря исключительно сочувственному отношению главного редактора – Константина Константиновича Случевского, отведшего на столбцах газеты широкое поле замыслам автора.

Чем жива народная Русь – в смысле ее самобытности? На чем зиждятся незыблемые устои ее вековых связей с древними, обожествлявшими природу, пращурами? Какими пережитками проявляется в современной жизни русского крестьянина неумирающая старина стародавняя? Где искать источники того неиссякаемого кладезя жизни, каким является могучее русское слово – запечатленное в сказаниях, песнях, пословицах и окруженных ими обычаях? Чем крепка бесконечная преемственность духа поколений народа-богатыря? Что дает свет и тепло жизни народа-пахаря? Что темнит-туманит и охватывает холодом эту подвижническую трудовую жизнь, идущую своими заповедными путями-дорогами?

Вот семь вопросов, на которые я – по мере сил – пытался ответить в этой своей книге. Внешний мир, обступающий суеверную душу русского крестьянина, и внутреннее бытие этой детски-пытливой, умудренной многовековым жизненным опытом, стихийной души, – вот что я желал отразить с большей или меньшей полнотою на предлагаемых вниманию читателей страницах.

Приблизился ли я хоть сколько-нибудь к задуманной цели – судить не мне, а моим будущим читателям и критикам, за каждое существенное указание со стороны которых я буду искренне признателен.

Если только суждено увидеть свет следующим изданиям этой книги, являющейся вместе с «Бывальщинами» заветным трудом всей моей жизни, то я не премину воспользоваться всеми такими указаниями, чтобы устранить, по мере возможности, те ошибки и неточности, которые, несомненно, могут встретиться здесь, и пополнить допущенные теперь пробелы.

Жизнь русского пахаря красна праздниками: к ним приурочено и огромное большинство простонародных сказаний, поверий и обычаев. Потому-то в основу своих очерков я и положил эти «красные» дни, отведя месяцеслову («круглому году») народной Руси чуть ли не две трети своей работы. На общие вопросы жизни, отразившиеся в сказаниях русского народа, пришлось остальная треть (первые семь и десять последних очерков).

Перечитав отпечатанные листы своей «Народной Руси», я считаю особенно приятным долгом посвятить эту книгу глубокопочитаемому Алексею Сергеевичу. Без его нравственной поддержки, без его драгоценных для меня писем она если бы и увидела свет, то – в лучшем случае – только в отдаленном будущем.

9 декабря 1900 г., С.-Петербург.

Аполлон Коринфский

I. Мать-Сыра-Земля

Ничего нет для человека в жизни святее материнского чувства. Сын родной земли – живущий-кормящийся ее щедротами, русский народ-пахарь, дышащий одним дыханием с природою, исполнен к Матери-Сырой-Земле истинно сыновней любви и почтительности. Как пережившие не один, не два века сказания, так и чуть не вчера молвившиеся-сказавшиеся красные слова, облетающие из конца в конец неоглядный простор народной Руси, в один голос подтверждают это, ни на пядь не расходясь с бытом-укладом поздних потомков могучего богатыря Земли Русской Микулы-свет-Селяниновича, крестьянствовавшего на Святой Руси в старь стародавнюю.

Ветхозаветное слово, повествующее о создании человека «от персти земная», не могло не прийти по мысли, не могло не прирасти к суеверному сердцу славянина-язычника, крестившегося в волнах Днепра-Словутича при Владимире Красном Солнышке, князе стольнокиевском. В стихийной народной душе еще и до наших дней не умирает живучее сознание вековой связи с обожествляющейся супругою прабога Сварога, праматерью человечества, за которую слыла обнимаемая небом земля, сливающаяся с ним в едином плодотворящем таинстве.

«От земли взят, землею кормлюсь, в землю пойду!» – говорит хлебороб деревень русских, применяя запавшие в сердце слова Священного Писания к своему житейскому обиходу. «Кормилицей» зовет он землю, сторицей возвращающую ему засеянное в добрый час зерно, «матушкой родимою» величает. А это – слово великое в неумытных-прямодушных устах его. «Добра мать для своих детей, а земля – для всех людей!», «Мать-Сыра-Земля всех кормит, всех поит, всех одевает, всех своим теплом пригревает!», «Поклонись матушке-землице, наградит тебя сторицей!», «Как ни добр кто, а все не добрей Матери-Сырой-Земли: всяк приючает семью до гробовой доски, а земля приютит и мертвого!» – приговаривает народная молвь, подслушанная своими пытливыми калитами-собираателями. «Всякому человеку – и доброму, и худому – земля даст приют!», «Умру – похоронят, поверх земли не положат!», «Век живешь – маешься, бездомником скитаешься; умрешь – свой дом во сырой земле найдешь!» – добавляет к этой молви свои подсказанные горемычной жизнью поговорки беднота-голь, живущая (по ее смешливому прибаутку) «против неба, на земле, в непокрытой улице». Недаром выплывают из глубины моря народного и такие слова, как: «Нужна рыбе вода, птице вольная ширь поднебесная, а человеку – нет ничего нужнее, как Мать-Сыра-Земля, – умрет, и то в нее уйдет!», «Кому земля – мать родная, кому – родимая матушка, а кому и мачеха; да все, как время придет, и пасынка к сырой груди прижмет, не оттолкнет, не погубит – к себе возьмет, на вечные веки приголубит!», «Корми – как земля кормит; учи – как земля учит; люби – как земля любит!»

Немало ходит по людям в деревенской-посельской Руси всяких пословиц, поговорок, присловий и прибауток о том, как и чем питает своего пахаря земля-кормилица. Все это красное богатство слова сводится к действенной вере сердца народного, в которой отразилась престодушная мудрость многовекового опыта трудовой жизни под властью земли.

Великую честь воздает своей вековечной заботнице, своей доброй кормилице посельщина-деревенщина, вот уже не одно десятилетие припадающая к ее могучей груди. «Свят Дух живет на земле!» – говорит она, именуя святою и свою родную землю, именуячи приговаривает: «На родной земле хоть умри, да с нее не сходи!», «На какой земле родился – там и Богу молись!». С благоговением смотрит русский пахарь на землю, молвит о ней только одну правду-истину, да и никому не советует обмолвливаясь перед ней облыжным словом. «Не могу солгать, – земля слышит!», «На земле – правдой живи, тогда земля будет и твоим детям кормилицей!», «В земле деда-прадеды лежат, из земли всякое слово слышат!» – говорится еще и теперь во многих уголках светлорусского простора.

Терпелива Мать-Сыра-Земля: кого-чего она – могучая – на своей груди не держит! Но есть на белом Божьем свете и такие грехи тяжкие, которых, по народному слову, и она, терпеливая, не снесет: «Грех – греху рознь, с другим и сквозь землю провалишься!» Всем открывает любвеобильная кормилица хлебороба-пахаря свои материнские объятия, когда пробьет час смерти человеческой. Но темная сила, бродящая по свету на пагубу роду людскому, соблазняет иных людей и на такие черные дела, что умрет человек – его даже и земля не примет после смерти. К ним причисляет народное суеверие тех, кто, по его словам, спознается с нечистой силою, продавая ее душу христианскую – на всякое лихо другим людям. Твердо верит в это державшийся за землю православный люд.

Охватит, обступит отовсюду иного человека горе, не дает ему – горемыке – ни сна, ни отдыха, ни пути, ни прохода; смеется-потешается злосчастье над его убожеством, заслоняет от истомленных выплаканных глаз бедняка свет солнечный... Некуда деться пасынку жизни от своего горя горького! И вот – потеряв всякую надежду на счастливый исход жизни-борьбы – обращается он к последнему своему прибежищу. «Расступись ты, Мать-Земля-Сырая», – вырывается у него из глубины души тяжкий стон: «Расступись, родимая, открой мне двери царские во твои ли палаты вековечные!» Об этих «палатах» ходит на Святой Руси такой красивый сказ, что и просторны-то они (всех людей приютят), и богаты-де (весь белый свет укупят), и все-то в них – и богатые, и бедные – за одними столами сидят: пьют, едят, прохлаждаются, хлебосольными хозяевами не нахвалятся...

Добрый частокोल можно было бы нагородить вокруг да около житья-бытья крестьянского из одних таких присловий о земле, как то и дело повторяющийся в деревенском обиходе: «Не роди, Мать-Сыра-Земля!» (вместо – «Не дай Бог!»), «Сквозь землю не провалился (от стыда)!»», «Земли под собой не взвидел (от радости, а также – от страха)!» – о пропавшем бесследно, «Хоть из-под сырой земли достань, а вынь да положи!»», «От меня и сквозь землю не уйдешь!», «Легче в землю лечь (чем это видеть)!» и т. п. «Не тузи по земле», – утешают бобыля смешливые краснословы, за крылатым словом не лезащие в карман, походя его на лету подхватывающие: «Саженку вдоль, полсаженки поперек, и будет с нас!» (о могиле). Записаны кладоискателями живого великорусского языка и такие слова, связанные с землею, как: «Выросло дерево от земли до неба. На том дереве двенадцать стручков; на каждом стручке по четыре кошелья, в каждом кошелье по семи яиц, а седьмое красное!» Загадает мужик такую загадку да сам – простота – тут же и разгадывает: «Дерево – год, сучки – месяцы, кошельи – недели, семь яиц – семь дней, седьмой день – красен-праздничек, воскресеньице!». Повторяет народная Русь и такие загадки о земле, как: «Меня бьют, колотят, ворочают и режут; я все терплю и всем добром плачу!» (в Псковской губернии), «Что на свете сытней всего?» (в Самарской губернии), «Аще, аще, что ни есть в свете слаще?» (там же).

Земля – общая родина счастливых и несчастных, богатых и бедных. «Не по небу и богач ступает, не под землей живет и нищий-убогий!» – гласит убежденное седидами пережитых веков простонародное слово. «Сверху – небо, снизу – земля, а с боков ничего нет. Хорош белый свет: хоть жарко, да ветерком обдувает!» – приговаривает, прибаутки ладит словоохотливая деревня: «Небо в тумане – и земля в обмане, и пусто в кармане!», «Солнышко-ведерышко красной девицей по синему небу ходит, а все на землю глаз наводит!», «На что далеко с земли до неба, а как стукнет в небе гром – у нас все слышно!»

В могучей семье древнерусских былинных богатырей есть двое, все подвиги которых непосредственно связаны с землею, вековечной кормилицей народа-пахаря. Это – Святогор, старейший из всей дружины богатырской, да Микула Селянинович – богатырь-оратай.

О первом из них дошло до нас несколько былин, каждая из которых выставляет его представителем чудовищно могучей стихийной силы, не имеющей прямого применения, ищущей и не находящей его во всем окружающем – ни среди природы, ни среди населяющих последнюю существ. Это – мученик своей собственной силы. Грузно богатырю от нее, что от тяжелого

бремени. Бродит у могучего силушка по жилочкам, жжет огнем, горячит жарким пламенем бурливую кровь, просится на волю вольную; и нет ей – неумной – пути-выхода из тела богатырского. Заключена она в нем – что в душной темнице, за семью дверями дубовыми, за семью железными засовами... И хотел бы Святогор-богатырь свою полонянку на волюшку выпустить, да не может; и охота ему поработать ей дать, да не над чем: не с кем старшему из богатырей русских помериться-побрататься силой-моченькой. Все богатыри-побратимы, все несут верой-правдою службу родине; одному ему нечем порадеть Земле Русской! Тяжко могучему, обида горькая берет его за сердце. А силы – все прибывает день ото дня, все могутнее она – что ни час прошел на белом свете... Да и не одному Святогору невмоготу тяжело от своей силы становится, грузно от Святогоровой и самой Матери-Сырой-Земле. «По моей ли да по силе богатырской кабы державу мне найти, всю землю поднял бы!» – молвил богатырь, похваляясь. Облетела похвальба словом крылатым всю Святую Русь – от моря до моря... Поехал на матером коне Святогор, едет не на прогулку-поездочку богатырскую, не с лихим врагом на ратный бой снаряжился: выехал-едет тягу-державу земную искать. «Едет шагом Святогор-богатырь, ростом выше дерева стоячего, головою в небо упирается, едет – сам подремывает сидючи...» Мать-Сыра-Земля под копытами богатырского матерого коня дрожмя дрожит; держит путь он к горам высоким каменным, к ущельям да расселинам, – дорога там верней-надежнее!.. И все грузней ему от силушки: храпит под богатырем добрый конь, того и смотри – наземь замертво грянется... Долго ли, коротко ли ехал Святогор, доехал богатырь до горы невиданной: крутая гора – что стена, кругом – падь бездонная... Огляделся старшой над богатырями русскими, видит: перед ним брошена на горе переметная сумка малая. «А не в ней ли тяга-держава земная лежит?» – смеется сердце богатырское. Ухмыльнулся Святогор в густую, что дремучий лес, бороду, – слез с коня, спешился, бьет поклон Матери-Сырой-Земле, хочет сумку поднять. Диво дивное, чудо чудное: не поднять богатырю малой сумки переметной. Как ни бился, так и не мог оторвать он сумку малую, – а и грузно же было богатырю от своей силушки!.. Да еще тяжелее было от нее самой земле: где стоял, там вместе с сумкой Святогор и в землю «угрыз». Насмеялась судьба над его похвальбой смелой... И разошлась Святогорова мочь-силушка от той ли каменной горы по всей земле православной; и бродит она под каждой пядью земной вплоть до наших дней, появляясь на белый Божий свет ненадолго в стихийной силе народной, порождающей людей богатырски мощного духа.

Другая былина отправляет Святогора искать той же тяги земной – в поле чистое, в степь широкую... И видит богатырь впереди себя прохожего с малою сумочкой переметною... «Едет рысью, все прохожий идет впереди; во всю прыть не может он догнать прохожего». Окликает его Святогор богатырским зычным голосом... Остановился прохожий – «с плеч на землю сбросил сумочку...» Едет к нему могучий, «наезжает на эту сумочку, своей плеточкой сумочку прощупывает – как урослая, та сумочка не тронется»... «Перстом с коня потрогивал, с коня рукой потягивал, – не сворохнется та сумка, не шелохнется...» Слез богатырь с коня, обеими руками за сумку взялся, во всю силу богатырскую натужился, – с натуги кровь из глаз пошла. «А поднял сумку он всего на волос, по колено сам в сыру землю угрыз!» Прохожий-то был не простой подорожный человек, а богатырь-оратай Микула Селянинович; а в сумке-то и нес пахарь-оратаюшко тягу земную... Оседлая сила богатыря-земледельца оказалась куда могучее кочевой – Святогоровой, хоть и не было от нее грузно ни самому Микуле, ни Матери его Сырой-Земле...

Недаром русский народ исстари веков слыл народом-пахарем, самым могущественным из созданных его вековыми сказаниями богатырей и является оратай Микула Селянинович: волей-неволею уступает ему по силе даже сам Святогор. Представитель верной народу землекормилицы, может быть, и не знал пословицы – «Держись за землю, трава – обманет!», но оправдывает ее всеми своими мужицкими подвигами. Подвизается Микула во чистом поле, свою соловенькую лошадку – знай понукает, с края в край бороздочку отваливает, корни сохой выворачивает – крестьянствует, приготавливая, с Божьей помощью, распаханную-засе-

янную ниву-новь новым поколением народа-землепашца, все свои надежды-чаяния возлагающего на поливаемую трудовым потом землю. В могучем своей простотой богатыре-оратае народная Русь воплотила саму себя. Поэзия крестьянского труда, с незапятнанных пор питающего население необъятной страны, – вся налицо в былинах о Микуле Селяниновиче. С непокрытой головою, с расстегнутым воротом – с душой нараспашку, в самодельных лаптях виден этот могучий сын могучего народа посреди безграничного простора людей, убегающих в неоглядную даль, увлекающих за собой взоры... Ветер, свободно гуляя по широкому полю, налетает на него, треплет густые пряди русских кудрей добра молодца, обвеивает холодком его открытую, пышашую зноем, могучую грудь. Налетай сама буря грозная, – не только не свалить с крепких ног, а даже и не покачнуть ей богатыря Микулу. Вера в свое вечное, в свое святое призвание – в сердце его: сила, несокрушимая сила – в мускулистых железных руках пахаря. Нет у Микулы ни меча булатного, нет ни лука скорострельного у Селяниновича, ни острого копья мурзавецкого: силен он сам собой да своей сохой крестьянскою... «А у пахаря сошка кленовенька, сошники в той сошке булатные, захлестнуты гужечки шелковеньки, а кобыла в сошке соловенька...» Такими словами любовно говорит былина о нем, повествуя о встрече его с мудрейшим из богатырей – Вольгой-свет-Святославичем, поехавшим с хороброй дружиною «по селам-городам за получкою, с мужиков выбирать дани-выходы»... Зовет Вольга Микулу ехать с собой во товарищах. Поехал Селянинович. Много ли, мало ли отъехали, – вспомнил он, что «не ладно в бороздочке свою сошку оставил необранну...» Посылает Вольга, по Микулиной просьбе, десять молодцев – «сошку с земельки повывернуть, с сошников землю повывернуть, бросить сошку за ракитов куст». Не только эти, а и другие, десять, а и вся дружина Вольги, не могли сделать этого, – словно выросла соха в землю, точно не земля, а железо на ниве у Микулы: «только сошку за обжи вокруг вертят, а не могут с земли сошку вывернуть»... Пришлось самому богатырю-оратаюшке вернуться на полосу недопаханную: «одной ручкой бросил он сошку за ракитов куст»... Держит к нему слово, спрашивает пахаря вздывовавшийся Вольга: «А и как ты, мужик, звать по имени, – величать тебя как по отчеству?» Богатырь отвечает Святославичу со всей свойственною народной речи картинностью: «А я ржи напашу, во скирды сложу, домой выволоку, дома выволочу да и пива сварю, мужиков сзову; и начнут мужики тут покликивать: – Гой, Микула-свет, ты Микулушка, свет-Микулушка да Селянинович!» По той былинах, где крестьянствующий богатырь встречается со Святотопом, он на такой же вопрос со стороны последнего отвечает более коротко: «Я Микула, мужик я Селянинович! Я – Микула, меня любит Мать-Сыра-Земля!» В этих словах еще ярче встает из-за темной дали веков светлый образ могучего оратая Земли Русской.

В известном народном стихе о «Голубиной Книге», еще и теперь распеваемом убогими певцами каликами переходящими, собраны – по мнению Безсонова – «правила и решения на все важнейшие стороны древних воззрений». В этом стихе, отразившем в своем словесном зеркале заветные взгляды родной старины чуть ли не на все существующее в мире, задается, между прочим, вопрос: «Которая земля всем землям мати?» – «Свято-Русь-земля всем землям мати!» – следует ответ. – «Почему же Свято-Русь-земля всем землям мати?» – не удовлетворяется полученным ответом пыливый дух спрашивающего. – «А в ней много люду христианского, они веруют веру крещеную, крещеную-богомольную, самому Христу, Царю небесному, Его Матери Владычице, Владычице Богородице; на ней стоят церкви апостольския, богомольныя, преосвященныя, они молятся Богу распятому...» – следует пояснение. От речи о том, какая земля «всем землям мати», вопрошающий переходит – за доброй дюжиной попутных вопросов – к такому: «На чем же у нас основалася Мать-Сыра-Земля?» – «Основалася на трех рыбах», – не скупится на слова простодушная народная мудрость:

*«На трех рыбах на китеньшах,
На китах-рыбах вся сыра-земля стоит,*

*Основана и утверждена,
И содержитца вся подселенная...»*

Ответ доходит до самой, что называется, подноготной мироздания: «Стоит Кит-рыба не сворохнетца, – когда ж Кит-рыба потронетца, потронетца – восколыхнетца, тогда белый свет наш покончитца: ах, Кит-рыбина разыграйтца, все сине море восколыхнитца, сыра мать-земля вся вздрогонитца, увесь мир-народ приужаснитца: тады буде время опоследняя»...

Наиболее верное объяснение этому ответу дает А.Н. Афанасьев: «Земля покоится на воде, якоже на блюде, простерта силою всеблагого Бога», – приводит он слова одного из забытых памятников народной старины. Эта «вода» – небесный воздушный океан, в котором тучи-водохранительницы представляются какими-то громаднейшими рыбами. «Кит-рыба – всем рыбам мати!» – гласит «Голубиная Книга». А потому-то тучи-рыбы переименовались в китов, принявших – по воле воображения не видывавшего этих «рыб» пахаря – на свои спины «всю подселенную, всю подсолнечну». Иные утверждают, – говорит пытливый исследователь поэтических воззрений славян на природу, – что исстари подпорою природы служили четыре кита, но один из них умер. Когда же перемрут и остальные три, в то время наступит кончина мира. Землетрясение – в глазах пахаря, задумавшегося над основами мироздания – не что иное, как осколки шума, производимого китами, поворачивающимися с бока на бок. По уверению памятливых, особенно ревниво оберегающих дедовские предания сказателей, в старину было даже не три-четыре, а семь китов, подставлявших свои спины для земли. Когда отяжелела она от незамолимых грехов человеческих, ушли четыре кита «в пучину эфиопскую». Во дни Ноя все киты покинули свое место, отчего, – говорят дошедшие до простонародного умозрения сведующие люди, – и произошел Всемирный потоп.

По другим – родственным с индийскими – сказаниям, земля стоит не на китах, а на слонах. Их тоже было в древние времена больше, а не три, как теперь, да состарились они – повымерли. «До сих пор Мать-Сыра-Земля изрыгает их кости!» – говорят в народе по тем местам, где находят кости допотопного мамонта. Есть и такое представление об устоях земли, что держится она не на китах и не на слонах, а на громадных столбах. «Пошатнется который-нибудь из столбов, вот и трясение земли!» – думает убежденный в этом люд. В отреченной (апокрифической) рукописи «Свиток божественных книг» сказано, что Творец основал хрустальное небо на семидесяти тьмах тысяч железных столбов. «Да, вижу, где прилежит небо к земли, якож глаголют книги, яко на столпах железных стоит небо...» – читается в сказании о Макаре Римском. В простонародных заговорах то и дело встречаются такие выражения, как: «Есть океан-море железное, на том море есть столб медный...» и т. п. По свидетельству митрополита московского Иннокентия, просветителя алеутов, у этих инородцев также существует поверье, что мир держится на одном огромном столбе. Но в народной Руси эти последние сказания распространены несравненно меньше, чем особенно пришедшееся ей по мысли первое – о китах.

Дошла до наших дней в различных списках сербско-болгарская рукопись XV века, в которой находится неопровержимое подтверждение того, что всем славянским народам родственны приблизительно одни и те же древние сказания о мироздании. «Да скажи ми: що дръжит землю?» – задается вопрос в этой рукописи. «Вода висока!» – следует за ним ответ. «Да що дръжит воду?» – «Камень плосень вельми!» – «Да що дръжит камень?» – «Камень дръжит 4 китове златы!» – «Да що дръжит китове златы?» – «Река огньная!» – «Да що дръжит того огня?» – «Друга огнь, еже есть пожечь, того огня 2 части!» – «Да що дръжит того огня?» – «Дубъ железны, еже есть пръвопосаждень, отвъсего же корение на силе Божией стоять!» И дуб, и огненная река, и камень – все это является древнейшим олицетворением громоносных туч небесных.

Сохранившиеся памятники отреченной народной письменности отводят немало места особо важному в глазах пытливого русского народа вопросу о том: на чем держится Мать-

Сыра-Земля. В «Беседе трех святителей» говорится, например, что земля плывет на волнах необъятно-великого моря и основана на трех больших да на тридцати малых китах. Малые киты прикрывают «тридцать оконеч морских». Вокруг всего моря великого – «железное столпие» поставлено. «Емлют те киты десятую часть райского благоухания, и от того сыти бывают...» По иному, занесенному в «Соловецкий сборник» разносказу этой «Беседы»: «В огненном море живет великорыбие – огнеродный кит – змей Елеафам, на коем земля основана. Из уст его исходят громы пламенного огня, яко стрелено дело; «з ноздрей его исходит дух, яко ветер бурный, воздымающий огонь геенский»... Когда «восколеблется кит-змея», тогда и настанет светопреставление... Всемирный потоп, по старинному сказанию о Мефодии Патарском, произошел оттого, что повелел Господь отойти тридцати малым китам от своих мест, и – «пойде вода в си оконцы на землю иже оступиша киты...» Отреченная письменность является, по мнению Афанасьева, Буслаева и других знатоков ее, прямым отражением простонародных изустных сказаний, а отнюдь не этим последним дала пищу книга. Родственная связь изустных сказаний у всех, даже и поставленных в самые разносторонние условия исторической жизни народов, свидетельствует о том же, о чем говорят и научные исследования: об одном месте их первобытной жизни. Так, например, предание о китах, поддерживающих землю, существует даже у японцев: «Опять ворочается кит под нашей землею!» – говорят они, когда – в недобрый час – случается землетрясение.

По всем уголкам светлорусского простора ходит, опираясь на слабеющую память вымирающих певцов-сказателей, духовный стих, именующийся то «Списками Ерусалимскими», то «Свитком («Листом») Ерусалимским», то «Списком ерусалимского знамения», то «Сказанием («Притчею») о Свитке». Вымрут сказатели, перелетающие – что птицы Божии – из конца в конец Земли Русской, но будут живы их сказания, сбереженные от напрасной смерти в сокровищницах собирателей словесного богатства народного. «Свиток Ерусалимский» во всех своих разносказах-разнопевах приходится сродни «Голубиной Книге». Он «упал во святом гряде Ирасулимове, в третим году воскресению Христову, из седьмова неба» – в камне: «камень ни огня, ни студен, ширины об аршине, тяготы яму несповедать никому...» К этому камню съехались, – гласит сказание, – цари, патриархи, игумены, священники и все другие христиане православные. Служились-пелись над неведомым камнем молебны три дня и три ночи. И распался камень на две половины, и выпал из камня свиток, почитаемый во многих местах за «послание Господа Бога нашего Иисуса Христа». В этом послании грешники и праведники предупреждаются о том, что «время Божие приближается, слово Божие скончивается». В целом ряде воззваний к «чадам Божиим» указываются наказания за людское нечестие. Самую тяжкой карою является бесплодие земли-кормилицы живущего, трудящегося и умирающего на ней русского пахаря.

*«Чады вы Мои!
Да не послушается Моей заповеди Господней
И наказания Моего, —
Сотворю вам небу медною,
Землю железною.
От неба медного росы не воздам,
От земли железной плода не дарюю,
Поморю вас голодом на земле,
Кладцы у вас присохнут,
Истошницы прискудеют.
Ня будет на земле травы,
Ни на древе скоры,
Будет земля яко вдова...»*

Вдовство-сиротство земли тяжелей всего для ее детей, поздних потомков богатыря-крестьянина. Да и как же не быть этой тяготе, если в том же, записанном П.П. Якушкиным списке «Свитка Ерусалимского» прямо говорится, что от нее создано тело человеческое («очи от солнца, разум от Святаго Духа») и что у всех чад Божиих:

*«Первая мать – Пресвятая Богородица,
Вторая мать – Сыра-Земля...»*

Мать-Сыра-Земля представлялась воображению обожествлявшего природу славянина-язычника живым человекоподобным существом. Травы, цветы, кустарники и деревья, поднимавшиеся на ее могучем теле, казались ему пышными волосами; каменные скалы принимал он за кости, цепкие корни деревьев заменяли жилы, кровью земли была сочившаяся из ее недр вода. «Земля сотворена, яко человек», – повторяется об этом, в несколько измененном виде, в одном из позднейших летописных памятников: «камение яко тело имать, вместо костей корение имать, вместо жил – древеся и травы, вместо власов былие, вместо крови – воды»... Рождавшая все плоды земные богиня плодородия испытывала, по народному слову, не одно счастливое чувство материнства. Мучимая жаждою – она пила струившуюся с разверзавшихся над ее лоном небес дождевую воду, содрогалась от испуга при землетрясениях, чутким сном засыпала при наступлении зимней стужи, прикрываясь от нее лебяжьим покровом снегов; вместе с приходом весны, с первым пригревом зачужавшего весну солнышком, пробуждалась она – могучая – к новой плодотворящей жизни, на радость всему живому миру, воскресшему от своих зимних страхов при первом весеннем вздохе земли. Ходит и в наши дни цветистая-красная молва о том, что и теперь есть чуткие к вещим голосам природы, достойные ее откровения люди, слышащие эти чудодейные вздохи, с каждым из которых врывается в жаждущую тепла и света жизнь вселенной могучая волна творчества.

Против благоговейного почитания Матери-Сырой-Земли, сохранившегося и до наших дней в виде яркого пережитка древнеязыческого его обожествления, восставали еще в XV–XVI столетиях строгие поборники буквы заветов Православия, громя в церковных стенах народное суеверие. Но ни грозные обличения, ни время – со всей его беспощадностью – не искоренили этого предания далеких дней, затонувших во мраке веков, отошедших в бездонные глубины прошлого-стародавнего. Кто не почитает земли-кормилицы, тому она, по словам народа-пахаря, не даст хлеба – не то что досыта, а и впроголодь. Кто сыновним поклоном очестливым не поклонится Матери-Сырой-Земле, выходя впервые по весне в зачерневшееся проталинами поле, – на гроб того она наляжет не пухом лебяжьим, а тяжелым камнем. Кто не захватит в чужеземный путь горсть родной земли, – тому никогда больше не увидать родины. Больные, мучимые «лихоманками» – лихими сестрами, выходят в поле чистое, бьют поклоны на все четыре стороны света белого, причитаючи: «Прости, сторона, Мать-Сыра-Земля!» Болящие «порчею» падают наземь на перекрестках дорог, прося Мать-Сырую-Землю снять напущенную лихим человеком болезнь. «Чем ушибся, тем и лечись!» – говорит народная Русь. И вот – советуют знающие старые люди выносить тех, кто ушибся-разбился, на то самое место, где приключалась такая беда, и молить землю о прощении. «Нивка, нивка! Отдай мою силку! Я тебя жала, силу наземь роняла!» – выкликают во многих местах поволжской Руси жницы-бабы, катаясь по земле, вполне уверенные, что, припав к ней, вернут все пролитое трудовым потом засилье. Земля и сама по себе почитается в народе лечебным средством: ею, смоченною в слюне, знахари заживляют раны, останавливают кровь, а также прикладывают ее к больной голове. «Как здорова земля, – говорится при этом, – так бы и моя голова была здорова!» и т. д. «Мать-Сыра-Земля! Уйми ты всяку гадину нечистую от приворота и лихова дела!» – произносится где-то еще и теперь при первом выгоне скота на весенний подножный корм. В старину при этом выливалась наземь кубышка масла – как бы для умиловления земли этой жертвою. «Мать-

Сыра-Земля! Утоли ты все ветры полуденные со напастью, уйми пески сыпучие со метелью!» – продолжался после этого памятуемый местами и теперь благоговейный причет-заговор.

Было время на Руси, когда при тяжбах о чересполосных владениях – вместо нынешней присяги – в обычай было ходить по меже с куском вырезанного на спорном поле дерна на голове. Это было равносильно лучшему доказательству законных прав тяжущегося. Еще в древнеславянском переводе «Слова Григория Богослова» – переводе, сделанном в XI столетии – встречается такая самовольная вставка переводчика: «Ов же дьрьн вскроуць на главе покладая присягу творить»... В писцовых книгах Сольвычегодского монастыря значится: «И в том им дан суд, и с суда учинена вера, и ответчик Окинфенко дал истцу Олешке на душу. И Олешка, положи земли себе на голову, отвел той поже межу»... Много можно было бы найти подобных свидетельств о земляной присяге и в других исторических памятниках Древней Руси. В XVI веке эта присяга была заменена хождением по спорной меже с иконою Богоматери на голове.

Клятва над землею сохранилась в народе и до сих пор по захолустным деревням, лежащим в стороне от городов. «Пусть прикроет меня Мать-Сыра-Земля навеки!» – произносит клянущийся, правою рукой осеняясь крестным знаменiem, а в левой держа ком земли. Братающиеся на жизнь и на смерть, давая обоюдные клятвы в неразрывной дружбе, иногда не только меняются крестами-тельниками, а и вручают друг другу по горсти земли. Эта последняя хранится ими потом зашитою в ладанку и носится на шее, – чему придается особое таинственное значение. Старые, истово придерживающиеся дедовых заветов люди уверяют, что, если собирать на семи утренних зорьках по горсти земли с семи могил заведомо добрых покойников, – то эта земля будет спасать собравшего ее от всяких бед-напастей. Другие знающие всю подноготную старики дают совет беречь с этой целью на божнице, за образом Всех Скорбящих Радости, щепоть земли, взятую из-под сохи на первой весенней борозде. В стародавние годы находились и такие ведуны-знахари, что умели гадать по горсти земли, взятой из-под левой ноги желающего узнать свою судьбу. «Вынуть след» у человека считается повсеместно еще и теперь самым недобрым умыслом. Нашептать, умеючи, над этим вынутым следом – значит, по старинному поверию, связать волю того, чей след, по рукам и по ногам. Суеверная деревня боится этого пуще огня. «Матушка-кормилица, сырая земля родимая!» – отчитывается она от такой напасти: «Укрой меня, раба Божия (имярек), от призора лютаго, от всякаго лиха нечаянная. Защити меня от глаза недобраго, от языка злобнаго, от навета бесовскаго. Слово мое крепко, как железо. Семью печатями оно к тебе, кормилица Мать-Сыра-Земля, припечатано – на многие дни, на долгие годы, на всею на жизнь вековечную!...»

Как и в седые, затерявшиеся в позабытом былом времена, готова припасть к могучей земной груди народная Русь с голосистым причетом вроде древнего:

*«Гой, земля еси сырая,
Земля матерая,
Матерь нам еси родная!
Всех еси нас породила,
Воспоила, воскормила
И угодьем наделила;
Ради нас, своих детей,
Зелый еси народила
И злак всякой напоила...»*

Мать-Сыра-Земля растит-питает хлеб насущный на благо народное; унимает она «ветры полунощные со тучами», удерживает «морозы со мятелями», «поглощает нечистыя силы в бездны кипучия». До скончания веков останется она все той же матерью для живущего на ней

и ею народа, своим внукам-правнукам заповедывающего одну великую нерушимую заповедь: о неизменном и неуклонном сыновнем почитании ее.

И крепко держится священная Русь этой священной для нее заповеди, глубоко запавшей в ее стихийное сердце, открытое всему доброму и светлому – несмотря на свою кажущуюся темноту. Светит в его потемках Тихий Свет беззаветной любви и «неумытной» правды, которых не укупить ни за какие сокровища.

Чем ближе к земле-кормилице, чем теснее жмется к ее груди сын деревни и полей, – тем ярче расцветают в его жизни эти неоценимые цветы сердца. Благословение Божие осеняет незримыми крылами трудовой подвиг земледельца – по преданию, идущему из далекой дали веков к рубежу наших дней. И не отходит это благословение, – гласит родная старина стародавняя, – от верных заветам праведного труда ни на шаг во всей их жизни.

О каком бы сказании ни вспомнить, какое бы слово о кормилице народа-пахаря ни услышать, на какой бы связанный с Матерью-Сырою-Землею обычай седой старины ни натолкнуться, – все они могут служить подтверждением выраженного народом-сказателем в ярких своей образностью словах записанного П.В. Киреевским старинного стиха духовного:

*«Человек на земли живет —
Как трава растет;
Да и ум человек —
Аки цвет цветет...»*

Как траве-мураве не вырасти без горсти земли, как не красоваться цветку на камне – так и русскому народу не крестьянствовать на белом свете без родимой земли-кормилицы. Как без пахаря-хозяина и добрая земля горькая сирота, – так и он без земли – что без живой души в своем богатырском теле.

II. Хлеб насущный

«Хлеб – дар Божий», – говорит русский народ и относится с вполне понятным благоговением к этому спасающему его от голодной смерти дару, составляющему почти единственное его богатство. Немалым грехом считается в народной Руси уронить на пол и не поднять хотя бы одну крошку хлеба; еще больший – растоптать эту крошку ногами. Благоговейное чувство удваивается в этом случае и сознанием того тяжкого, страдного труда, каким добывает народ-пахарь каждую малую крошку, а также и воспоминаниями о тех тревогах-заботах, с которыми неразлучно ожидание урожая.

Вековечна дума крестьянина о хлебе. Думами об урожае окружены все сельские праздники. В большинстве простонародных примет, поверий, обычаев и сказаний слышится явственный отголосок этих чутких заповедных дум, пускающих ростки еще до засева зерна, колосющихся вместе с выбегающими на свет Божий из сердца Матери-Сырой-Земли всходами, зацветающих – при взгляде на первый выметнувшийся колос. Нет конца этим думкам-думушкам: что ни день – растут они, гонят сон от усталых очей пахаря, приводят к его жесткому изголовью тревогу за тревогою. Этими думами засеяна вся жизнь мужика-деревенщины – что твое поле чистое. Зовет народная песня вернуться на белый свет весну – молит-заклинает ее, чтобы пришла она – красная – «со светлую радостью, с великою милостью: с колосом тяжелым, с корнем глубоким, с хлебами обильными». Идет пахарь, а дума – впереди него, дорогу хлеборобу торит; за одной думкой другие перебегают тореный путь, самодельными лаптями проложенный, трудовым потом политый. Глянет пахарь на ясное небо, – в тот же миг закопшится у него на сердце думушка: пошлет ли Господь дождичка вовремя. Дождь – дождю рознь: один хлеб растит, а другой хлебогоем прозывается. Кропит дождь небо, поит – тороватое – жаждущую землю-кормилицу, а у мужика опять думка: пригреет ли его полосыньку красное солнышко в пору-благовременье. Набегут облака, сгустятся-зачернеют тучи, повиснут над хлебородной нивою, – смотрит честной деревенский люд, смотрит – крестится, Бога молит: чтобы не разразились тучи градом, не выбило бы хлебушка богоданного на корню. На земле пахарь живет, землею кормится, с ее дыханием каждый вздох его сливается. Сколько безысходного горя горького слышится, например, в словах такой – относимой некоторыми собирателями к разряду «плясовых» – песни бобыля-бездомника, оторванного мачехою-жизнью от земли:

*«Полоса ль моя, полосынька,
Полоса ль моя не пахана,
Не пахана, не скорожена.
Заросла ль моя полосынька
Частым ельничком,
Ельничком, березничком,
Молодым горьким осинничком».*

Думает-гадает о хлебе-урожае народная Русь и весной теплою, и знойным летом, и осенью ненастною; нет ей, кормящейся трудами рук своих, покою от думы и в зимнюю пору студеную, – когда дремлет зябкое зерно в закованной морозом земле, принакрытой парчой снегов сребротканой. На роду написано мужику – и умереть с этою же недремлющею думою в сердце.

В стародавние годы, не озаренные светом веры Христовой, хлеб являлся для русского народа, да и вообще для всех славян-земледельцев, даром обожествлявшихся Земли и Неба. Эта могущественная чета возлагала на себя заботу о зарождении хлеба насущного для народа-землепашца, из года в год обновляясь в своем плодоносящем слиянии друг с другом. Обнимая землю со всех сторон, Небо орошает ее животворным дождем, пригревает ее лучами солнеч-

ными: и отвечает Мать-Сыра-Земля на эти ласки всякими плодами земными. Что ни новая весна – то и новое проявление бессмертной любви богов-праотцов представало пытливому взору пращуров народа-пахаря.

Позднейшие времена славянского язычества перенесли понятие о небе (Свароге) на Святотида (Световита), отождествленного с первым, но принявшего в суеверном народном представлении более определенный облик. По свидетельству летописца, в древней Арконе существовал главный храм этого бога, куда стекались на поклонение паломники из всех земель славянских. Здесь стоял идол Святотида; и был этот идол выше роста человеческого, было у него четыре бородатых головы, обращенных в четыре стороны света белого. В правой руке находился у него турий рог с вином. Обок лежало освященное седло Святотидово, у пояса висел его меч-кладенец. При храме содержался посвященный богу богов славянских белый конь. К Святотиду обращались жрецы с молитвами о плодородии; по его турьему рогу было в обычае гадать об урожае. Налитое в рог вино являлось олицетворением плодородного дождя. Сохранились на Руси предания и о других олицетворениях земного плодородия – о Дажьдбоге милостивом да ласковом, о Перуне – объединявшем в себе милость с грозной силою, бога-плодоносителя – с богом-громовником. Позднее передал пахарь-язычник первое свойство повелителя громов небесных Светлояру (он же – Ярило и Яр-Хмель).

Озарились тонувшие во тьме дебри языческой Руси лучезарной зарею христианства; шли годы, из годов слагались века. И вот – потускнели облики древних богов; перенесло живучее народное суеверие приурочивавшиеся им свойства на святых угодников Божиих. Зазвучали в крылатом народном слове некогда чуждые русскому сердцу, но с течением времени сроднившиеся с ним, как бы приросшие к нему, имена новых, более надежных, заступников народа-земледельца, отовсюду охваченного грозными объятиями природы: Илья-пророк, Никола-милостивый, Петр и Павел, Власий и другие. Исчезла с течением времени, изгладилась в народе даже самая память о древнеязыческих, вызванных из окружающей природы богах. Не сам русский народ дошел до искусства пахать-засевать землю: научили его этому, – если верить его старым сказаниям, – небесные покровители. «Ей, в поле, поле, в чистейком поле», – поется, например, в одной подслушанной исследователями-собирающими словесной старины малороссийской песне: «Там же мий оре золотым плужок, а за тим плужком ходит сам Господь; ему погоняет та святой Петро; Матенка Божа семена носит, насенечко носит, пана Бога просит: – Зароди, Божейку, яру пшеничейку, яру пшеничейку и ярейке житце! Буде там стебевце саме тростове; будут колосойки, як былинойки, будут копойки, як звездойки; будут стогойки, як горойки; сберутся возойки, як чорны хмаройки!...»

Десятки, сотни сказаний ходят по Святой Руси, ходят, клюками о сырую землю опираются, походя – о божественных пахарях речь ведут, цветами воображения приукрашенную. Падают эти яркие, не блекнувшие от дыхания времени цветы, осыпаются лепестками их на тучную ниву народную, – русскому сердцу о стародавней старине живую весть подают.

Отвела старина-матушка Домовому избы-дворы крестьянские; схоронила она от смерти неминуемой во темном лесу во дремучем Лесовика, лесного хозяина; пустила, седая, по лугам зеленым гулять Лугового; живет, по суеверному воображению народа, до сих пор в каждой реке Водяной, со всем подвластным ему русальным народом. Что ни шаг ступит мужик-простота, – то на вещего духа натолкнется. Жив для него и в каждом поле древний Полевик (Полевой); величают последнего во многих местах, кроме того, и «житным дедом». Идет пахарь полем, на зеленые всходы не налюбуется... «Уроди, Боже, всякаго жита по полному закрому на весь крещеный мир!» – молитвенно шепчет он; а сам озирается: не видать ли где у межи полевого «хозяина». Представление об этом порождении «нежити» родственно не только у всех славянских, но и у многих других соседних народов. Полевик – житный дед, – по народному поверью, живет в поле только весной да летом во время всхода, роста и созревания хлебов. С началом жнитва наступает и для него нелегкое время: приходится старому бегать от старого серпа да

прятаться в недожатых колосистых волнах. В последнем дожатом снопе – последний и приют его. Потому-то на этот сноп и смотрят придерживающиеся старых рассказней люди с особым почетом: или наряжают его да с песнями несут в деревню, или – благословясь – переносят в житницу, где хранят до нового сева, чтобы, засеяв вытрясенные из него зерна, умиловать покровителя полей, дав ему возродиться в новых всходах. Не умилившись, не постаравшись задобрить Полевика, – немало он может «напроказить» в поле: и всякую истребляющую хлеб гадину напустит, и – на лучший конец – весь хлеб перепутает. Задобренный же, он, – говорят упрямые хранители отживших свое время поверий, – станет-де всячески оберегать ниву зорким хозяйским глазом.

Суеверна душа народа-пахаря; но, и при всем заведомом суеверии, он – добрый сын матери-Церкви. Во всяком важном случае жизни привык обращаться он с горячей, из глубины сердца идущей молитвой к Богу. А что же для него может быть важнее всего, связанного с думой-заботой о хлебе. И приступает он к каждому своему новому труду в поле не иначе, как с благословения Божия. Приходит чудейница-весна, пробуждается к новому плодородию Мать-Сыра-Земля... И вот тянутся от храмов Божиих в поле по всей Руси великой молебные ходы крестные. «Поднимаются иконы» народом и в засуху-бездождие, и в ненастье хлебогнойное. Служатся благодарственные молебны и по окончании полевых работ; приносится в церковь для освящения всякая «новина». Дума народа о хлебе – этом чудесном даре Божиим – с наибольшей яркостью выразилась в его окрыленном образностью, красном своей меткостью слове, неисчерпаемые богатства которого сохранились в сказаниях, пословицах, поговорках и всяких присловьях, записанных пытливыми собирателями неоценимого словесного богатства народного.

Хлеб в деревенском обиходе – «всеу голова». Впрочем, по словам тысячелетней народной мудрости, он везде хорош: и у нас, и за морем. Хлеб – предмет первой необходимости для каждого человека. Это понятие выразилось в целом ряде таких поговорок, как «Только ангелы с неба не просят хлеба!», «Хлеб-батюшка, водица-матушка!», «Бог на стене, хлеб на столе!», «Дай Бог покой да хлеб святой!» и т. д. Любовно величает русская песня хлеб насущный, припеваючи:

*«Растворю я квашонку на доньшке,
Я покрою квашонку черным соболем,
Опою квашонку ясным золотом;
Я поставлю квашонку на столбичке.
Ты взойди, моя квашонка, с краями ровна,
С краями ровна и полным-полна!»*

В одной свадебной песне еще более ласковыми словами ублажается каравай хлеба: «свети, свети, месяц, нашему короваю! Проглянь, проглянь, солнце, нашему короваю! Вы, добрые люди, посмотрите, вы нашего короваю отведайте, вы, князь с княгиней, покушайте!» Другая – так и зовется, каравайною: «Коровай катается, коровай валяется, коровай на лопату сел, коровай на ножки встал, коровай гряды достал. Уж наш-то коровай для всей семьи годен, для всей семьи – чужой родни: чужому батюшке заесть, чужой матушке закушать, молодой княгине нашей утричком прикушать; молодому-то князю нашему сыто-насыто наесться!»

Красно говорит охочая до крылатого словца деревня о хлебе-батюшке, послушать любо. «Хлеб за брюхом не ходит!» – молвит народ, всю жизнь ходящий за хлебом и около хлеба. «Ищи – как хлеба ищут», – прибавляет он к этому слову меткое присловье, указывая на трудность добывания хлеба. «Как хочешь зови – только хлебом корми!» – вылетает из народных уст окрыленный голосом голодной нужды прибауток. «И пес перед хлебом смиряется!» – цепляется за него другой, еще более резкий по своей неумытой-неприглаженной правдивости. Но

тут же у мужика-хлебороба про запас и третье – веселенькое – словцо. «Что нам хлеб – были бы пироги!», «Где хозяин прошел, там и хлеб уродился!» – приговаривает он.

Народ не считает деньги за двигателя жизни. «Не держи денег в узлу, держи хлеб в углу!» – говорит его устами житейский опыт. «Ел бы богач деньги, кабы убогий хлебом не кормил!» – дополняет он высказанную мысль: «И беду можно с хлебом съесть!», «Не дорог виноград терский, дорог хлеб деревенский: немного укусишь, а полон рот нажует!»», «Без хлеба – смерть!», «Хлеба ни куска, так и в тереме тоска; а хлеба край, так и под елью рай!», «Палата бела, а без хлеба – беда!», «Хлеб на стол, и стол – престол; а хлеба ни куска, и стол – доска!», «Без хлеба – не крестьянин!» Неприхотлив русский пахарь: «Как хлеб да квас, так все у нас!» – похваляется он: «Хлеб да вода, мужицкая еда!», «Хлеб (ржаной) – калачу (пшеничному) дедушка!», «Калач приестся, а хлеб – никогда!», «Покуда есть хлеб да вода – вполбеды мужику лихая беда!..»

Любит погудорить честной деревенский люд; никогда он не прочь острым словом перекинуться. А и метко же бывает об иную пору это словцо мужицкое: скажешь – как пить дать, не в бровь, а в самый глаз попадет!.. «Родись человек – и краюшка готова!» – гласит оно. «Без краюшки – не прожить и седой старушке!», «Люди за хлеб – так и я не слеп!», «Каков ни есть, а хлеб хочет есть!», «Урод-урод, а хлеб в рот несет!», «Голодной куме – все хлеб на уме!» – словно житом ниву засевают, сорят по людям присловиями одни люди добрые. «Не я хлеб ем, а хлеб – меня ест!» – пригорюниваются другие. «Мужик на счастье засеял хлебца, а уродилась лебеда!» – махают рукой третьи. Но навстречу этому слову идет уже и новое, хотя в стародавние времена сложившееся в народной Руси: «Это что за беда, коли во ржах лебеда; а вот нет хуже беды – как ни ржи, ни лебеды!», «Всем сытым быть – чистого хлеба не напасть: проживем – не умрем, коль с лебедой пожуюем!», «Не всем пирог с начинкой, кому – и хлебец с мякишкой!» Охотники до зелена вина государева от словца о хлебе не прочь зачастую перейти и к присловьям о «хлебной водице». А чем не красны хотя бы такие прибаутки, например, как: «Нет питья лучше воды, коли перегонишь ее на хлебе!», «Хлебом мы сыты, хлебом мы и пьяны!», «Полюби Андревну (соху), так и хлебом брюхо набьешь, хлебным пойлом горе зальешь!»

Среди загадок русского народа встречается немало говорящих о хлебе. Вот некоторые из них, занесенные собирателями живой старины в неисчерпаемую сокровищницу великорусского языка: «Лежит бугор между гор, пришел Егор, унес бугор (хлеб в печи)!», «Режу, режу – крови нету!», «Что без кореньев растет, без костей встанет?», «Режут меня, вяжут меня, бьют нещадно, колесуют, пройду огонь и воду, конец мой – нож да зубы!» – говорит о себе хлеб, питающий своего неустанного векового работника.

В русском народе, от мала до велика, коренится сознание того, что Господь повелел от земли кормиться. Но, по тому же народному слову, и земля не всякого человека захочет кормить: «Бог не родит, и земля не даст; Бог не даст, и земля не родит!» – говорят в крестьянской Руси. Хотя и сложилось в ней присловье – «Не земля родит, а небо!», но с гораздо большей уверенностью повторяет деревенщина-посельщина такие как: «Земля-мать, подает клад!», «Какова земля, такой и хлеб!», «Добрая земля – полная мошна, худая земля – пустая мошна!», «Чего на землю не падет, того земля не подымет!» и т. д. Сельскохозяйственный опыт подсказал крестьянину слова: «Добрая земля назем раз путем примет, да девять лет помнит!», «Не та земля дорога, где медведь живет, а где курица скребет!», «На доброй земле сей яровое раньше, на худой позже!»

Изо всех хлебов ближе, родней изо всех для русского пахаря рожь. Зовет он «матушкой», «кормилицей» величает, именует ее своим «богоданным богатством». Про ржаной черный хлеб у него и своя песенная слава сложена:

*«А эту песню мы хлебу поем, слава!
Хлебу поем, хлебу честь воздаем, слава!»*

*Старым людям на утешение, слава!
Добрым молодцам на услышание, слава!»*

«Матушка-рожь кормит всех сплошь, а пшеничка – по выбору!» – говорит мужик; говоря, простота, приговаривает: «Красно поле рожью!», «Не кланяюсь и богачу, коли рожь молочу!», «И год хорош, коли уродилась рожь!..» По старинной народной примете, рожь поспевает из закрома в заком в таком порядке: две недели зеленится, две недели колосится, две недели отцветает, две недели наливают, две недели подсыхает да две недели хозяину поклоны бьет, жать себя просит: «Торопись, – говорит, – а то зерно уплывет!» Она же, матушка, ведет к мужику и такую речь: «Сей меня хоть в золу, да в пору!», «Сей хоть в песок, да в свой часок!», «Сеять-то сей, да на небо поглядывай, дождичка у Бога моли!» Если сев ржи придется во время полуночного (северного) ветра, то – по примете – рожь выйдет крепче и крупнее зерном. Тороватый на приметы деревенский люд говорит, что если при посеве ржи пойдет дождик мелкий, как бисер, то это Бог об урожае весть подает; а если пойдет ливень, то лучше и не продолжать сева, а скорее поворачивать оглобли домой, – не то быть худым всходам. Сложились и у бедняков-бобылей свои бобыльские слова про рожь-кормилицу. «Хороша рожь уродилась, да другим пригодилась!» – говорит их устами народная Русь: «Ходи да любуйся на соседнину рожь!», «Пойду туда, где про меня рожь молотят!», «У кого не засето, тому и тужить об урожае горя нету!»... Привыкшие к неурожайным годам пахари обмолвились про свое житье-бытье серое таким красным словом: «У нас народ все богатеет: земли от семян остается!», «Не сей, не тужи, знай – котомку за спиной держи: Бог подаст, как по миру нужда погонит!» Об озимой ржи ходит в народе старая загадка: «Загану я загадку, закину за грядку: в год пушу, а в другой выпущу!»

«Ржаница» идет, по народному слову, «мужику на сыть», а пшеница – «на верхосытку». Пшеница – «ржи богатая сестра», она не кормит, а прикармливает. «Одним пшеничным пирогом мужик сыт не будет, коли ржаного хлеба не добудет!», «Пшеничка – привередница: и кормит по выбору!», «Пшеница – невеста разборчивая, не ко всякому мужику в дом пойдет!», «В поле пшеница годом родится, матушка-рожь – из году в год!..»

Песни о пшенице – в большинстве случаев – девичьи песни. Все они по своему содержанию сбиваются на одну и ту же.

*«Я у матушки на пшеничниках,
Я у батюшки на житниках росла,
Что бела росла, красна выросла...» и т. д.*

«Красные дни – сей пшеницу!» – дает совет присмотревшийся за долгие века полевой страды к прихотям природы деревенский люд. «Сей пшеницу, когда зацветет черемуха!» – приговаривает советчик: «Пшеничный сев – полдень!», «Закрасуется нива пшеничным руном, как посеешь ведренным днем!»... Сеется на Руси пшеница в средней (мало) и в южной – больше – полосах; везде предпочитается яровой (весенний) сев, и только в немногих, не боящихся мороза-стужи, местах высевают ее на озимь. В последнем случае зовется пшеница «зяблою» и «лебянкою». Есть разные пшеницы: русская («серая»), египетская («саидка»), красная, «черноколоска-чернотурка», «белотурка», «кубанка» и другие. Но, – говорит народ: «Как пшеницу ни зови, а все рожь-матушка поименнее будет, – даром, что всего одно у нее, у кормилицы, имечко!»

Полба с ячменем слынут в народной Руси за пшеницыну родню: «Полба – пшенице меньшая сестрица, ячмень усатый – полбин брат». По слову крестьянской мудрости: «Полба из беды мужика не выручит, а только есть пироги выучит!», «Полба уродилась – полбеды долой, ржи невпроед – беды и не было!» Ячмень в некоторых местностях зовется еще «житарем».

Это – самый северный хлеб, меньше всех страшющийся лихих угроз старика Мороза со всеми его сыновьями – Морозовичами. Приметливые люди торопятся сеять ячмень в те дни, когда цветет калина-ягода. «Ячмень на свежем навозе сей в полнолуние!» – приговаривает деревенский люд. Когда ячмень колосится, соловей замолкает, – гласит примета. Плохо тот ячмень родится, который посеян при западном и юго-западном ветре. «Приелся как сухой ячмень беззубой кобыле!» – вылетела на светлорусский широкий простор смешливая народная поговорка об этом подспорье крестьянского хлеба насущного. «Спора ячменная каша, спорей того ячные (ячменные) блины!» – говорят на студенном Севере, но говорят только потому, что в тех местах греча-дикуша совсем не родится.

«Не все мужики – гречкосеи!» – можно услышать из уст словоохотливой деревни. – «Не все гречкосеи, да всем в охотку гречневая кашка!»... Суровый, закаленный в горниле непокрытой нужды-невзгоды, крестьянский опыт оговаривает эту поговорку: «Сей рожь, а греча – не печка (не забота!)», «Был бы хлеб, а каша будет!», «Без каши не помрешь, а без хлеба не проживешь!» Но охочие до каши хлебоборобы не умолкают. «Каша – мать наша!» – говорят они: «Горе наше – грешневая каша: есть не хочется, покинуть не можется!» (или «есть не можется, отстать жаль!»), «Грешная каша – матушка наша, а хлебец ржаной – кормилец родной!», «Сладкая грешневая каша – что твой липец-мед», «Без грешневой каши мужику ни в чем спорины нет!»

Не всякая земля – на гречиху спора... «Не равна гречиха, не равна и земля!» – говорит народное слово. «Не верь гречихе на цвету, верь в закрому!», – приговаривает оно, указывая на то, что греча – самый зябкий хлеб, почему и сеется позднее всех других. Ненадежен этот хлеб: «Холь гречиху до посева да сохни до покоса!» По сельской примете: «Гречиха плоха – овсу пороет!», «Гречиху сей, когда рожь хороша!» (по иному разносказу: «когда трава хороша»). «Сей гречиху или за неделю до Акулин (смотря по местности и погоде), или спустя неделю после Акулин!» (день св. Акулины-«гречишницы» – 13 июня), – приговаривает умудренная хозяйственным опытом деревня: «Не равна гречиха, не равна и земля: в иную и воз бросишь, да после зерна не соберешь!», «Осударыня-гречиха ходит боярыней, а как хватит морозу, веди на калечий двор!»

В старину бывал у благочестивых хозяев на Акулину-гречишницу корм нищей братии: варились «мирская каша» – для всех живущих Христовым именем на крещеном миру. Благодарили убогие гости хлебосольных хозяев особым причетом, «Спасибо вам, хозяин с хозяйшкой, с малыми детками и со всем честным родом – на хлебе, на соли, на богатой каше!» – причитали они: «Уроди, Боже, вам, православным, гречи без счету! Без хлеба, да и без каши – ни во что и труды наши!»

Гречневая каша с незапамятной поры стародавней слывет за любимую еду русского народа: не гнушаются ею даже в богатых хоробах, а не только в бедной хате. Ходит в народе о гречихе старая сказка, повествующая о том, как впервые попала греча на Святую Русь. «За синими морями, за крутыми горами жил-был царь с царицей», – начинается эта сказка свою певучую, изукрашенную цветами слова речь и продолжает: «На старость послал им Господь на утешение единое детище, дочь красоты несказанныя... Возрадовались царь с царицей и не знают от радости, какое имя дать дочери, как ее прикликати: какое имечко ни вспомнится им, есть оно и в других семьях – то у боярской дочери, то у княжеской, то у посадского мужика в семье»... Порешили царь с царицей снарядить посла, идти ему всех встречных-поперечных опрашивать об имени, чтобы дать его красавице царевне. Попалась послу старуха старая: на вопрос посла отвечала седая, что зовут ее Крупеничкою. Не верит боярин, никогда не слыхивал он такого имечка; но когда стала клясться-божиться старая, взял в толк посланец царский, что за таким-то неслышанным именем и послали его на поиски. Отпустил он старуху – «в Киев-град Богу молиться, а на отпуске наделял золотой казной». Вернулся посол к царю с царицею, поведал им обо всем, и нарекли они новорожденное свое детище Крупеничкою... Выросла-повы-

росла царевна, надумали отец с матерью замуж ее отдавать, послали по всем царствам-королевствам искать себе зятя. Вдруг – ни думано, ни гадаю – подымалась орда бесерменская. Не посчастливилось царю в войне с ордой, положил он со всеми князьями-боярами на кровавом поле свою голову. Полонила орда все царство, и досталась царевна во полон злому татарину. Три года томилась красавица в тяжелой неволе; на четвертый шла-прошла старуха старая через Золотую Орду из Киева, – увидела полоняночку, увидав – пожалела да и оборотила царскую дочь «в гречневое зернышко»; спрятала его в свою калиту да и пошла на Святую Русь. Идет старая, а царевна ей: «Спасла меня от работы великия, от неволи тяжкие, сослужи еще службу последнюю: как придешь на Святую Русь, на широки поля привольные, схорони меня в землю!» Просьба царевны была исполнена, но – как схоронила старуха гречневое зернышко, – «и учало то зернышко в рост идти, и выросла из того зернышка греча, о семидесяти семи зернами. Повеели ветры со всех со четырех сторон, разнесли те семьдесят семь зерен на семьдесят семь полей. С той поры, заканчивается сказка, – на Святой Руси расплодилось греча...»

Дает мужику подспорье и просо пшенной (белую) кашей. Но эта каша – не чета гречневой, не так плотно ложится. По народным пословицам: «Пшенная кашка – ребячья!» «Просо реденько, так и каша жиденька!», «Просо ветру не боится, а морозу кланяется».

Любимая снедь деревенских едоков гречневая каша, но и горох недолго застоит перед ними на столе в чашке: «Горох да репа – мужицкому брюху крепа!» – говорится в народе. Немало цветистых присловий сказалось-сложилось об этом кудреватом растении. «Кабы на горох не мороз, он бы и тын перерос!», «Не смейся, горох, не лучше бобов: размокнешь, надуешься, лопнешь!», «Наш горох никому ни ворог!», «Завидна девка в доме да горох в поле: кто ни пройдет, ущипнет!», «Девку в доме, да горох в поле не убережь!» Каждое присловье в свой цвет окрашено. Есть и такие смешливые, как: «И за морем горох не под печью сеют!», «Лежебок шилом горох хлебает, да и то отряхивает!», «С твоим умом только в горохе сидеть!» Если хотят сказать о чем-нибудь стародавнем, то выражаются так: «Это было тогда, когда царь Горох с грибами воевал!» Ходят по светлорусскому простору и такие изречения: «К тебе слово – что в стену горох!», «С ним говорить – горох в стену лепить!» Старые сельские хозяева советуют сеять горох в первые дни новолуния и не сеять – при ветре с полуночи. Если при этом (северном) ветре сеять, так, по уверению их, будет горох редок, при западном и юго-западном – мелок-червив.

Загадок о горохе немало. Вот одна из более живучих: «Малы малышки катали катышки, сквозь землю прошли – синю матку нашли; синяя, синяя да и вишневая!»... «Хороши пирожки-гороховички, да я не едал, а от дедушки слыхал; а дедушка видал, как мужик на рынке едал!» – посмеивается деревня, сидя на ржаном хлебце-батюшке да на холодной ключевой водице-матушке. «Сею, сею бел горох: уродися, мой горох, и крупен, и бел, и сам тридесят – старым бабам в потеху, молодым ребятам на веселье!» – приговаривают тороватые краснословы.

Овес кормит не только лошадь, но и мужика и всю его семью: намолотит мужик овсеца, свезет на базар – продаст, привезет домой денег на подати, на расходы домашние, на хозяйственные. «Не лошадь везет, овес едет!», «Не гладь лошадь рукой, гладь овсом!», «Сеном лошадь требушину набивает, от овса (у ней) рубашка (к телу) закладывается!» – замечает деревенская забота о лошади – крестьянской помощнице. Овес любит, чтобы его сеяли «хоть в воду, да в пору». Сеять его умудренные годами хозяева советуют лишь тогда, когда босая нога на пашне не зябнет или когда березовый лист станет распускаться (симбирская примета). Овес неприхотлив: он, по народному слову, и сквозь лапоть прорастет. «На кургане на варгане стоит курочка с серьгами», – загадывается загадка об овсе. Из овса готовят бабы-хозяйки лакомые снеди – толокно да кисель овсяные, напекают иногда и овсяных блинов (постных). «Не подбивай клин под овсяный блин: поджарится, сам свалится!» – говорят охочие до прибауток люди:

«Хорош овсяный кисель, ребята едят да похваляют!», «Толокно – и сладко, и споро, и скоро: замеси да прямо и в рот понеси!»

Исстари славился народ русский своим хлебосольством; славится он этим неотъемлемым качеством и в наши дни: любит честных гостей – и званных, и незванных – угощать, с добрыми соседями хлеб-соль водить. «От хлеба-соли не отказываются!», «Хлеб-соль кушай, а добрых людей слушай!», «Без соли, без хлеба – плохая еда!», «Хлеб-соль платежом красна!», «Боронись хлебом-солью!», «Кинь хлеб-соль позади, очутится впереди!» В таких словах и многих им подобных отражается широкая и глубокая – при всей своей простоте – душа пахаря-народа. Твердо помнит он, что «хлеб хлебу – брат», но знает и завет дедов-прадедов, гласящий, что: «Хорош тот, кто поит да кормит, а и тот не худ, кто старую хлеб-соль помнит».

III. Небесный мир

«С той стороны, с-под восточныя, выставала туча темная, грозная; из той из тучи темная, грозная выпадала Книга Голубиная. Ко славному кресту животворящему, ко этой Книге Голубиной соезжалось сорок царей и царевичей, собиралось сорок королей и королевичей, много бояр со боярами. Из них было пять царей набольших: был Исай царь, Василей царь, Володумир царь Володумирович, был премудрой царь Давыд Евсеевич»... Такова записка к старшему (мировому) стиху духовному, сложившемуся в стародавние годы в сердце народной Руси и – в десятках разносказов – распеваемому, начиная от студеного архангельского поморья и кончая степями южнорусскими. На этом стихе зиждятся устои вековой народной премудрости, отвечающей пытливому духу могучего народа, сложившего свой сказ о мирозидании.

Упала с неба, вышла из тучи Книга Голубиная – «Божественная книга Евангельская»... Дивятся все собравшиеся «ко кресту животворящему», диву дались все «сорок царей, все царевичей, сорок князьев все князевичей, сорок попов, сорок дьяконов, много народу, людей мелких, христиан православных. Никто (из них) ко книге не приступится, никто к Божьей ни пришатнется...» Много ли, мало ли времени прошло-минувло, – в стихе сказа нет... Но вот – расступились собравшиеся, «приходил ко книге премудрой царь, перемудрой царь Давыд Евсеевич, до Божьей до книги он доступается, перед ним книга разгибается, все Божественное писание объявляется...» Увидел это Володумир царь, в котором нетрудно узнать Владимира Красно Солнышко, князя стольнокиевского, – подступает он к мудрейшему из собравшихся, держит свою речь к нему:

*«А ты гой еси, царь Давыд Евсеевич!
Ты прочти Книгу Голубиную,
Расскажи, сударь, нам про белый свет:
Отчего у нас зачался белый свет,
Отчего зачалось солнце красное,
Отчего зачался млад-светел месяц,
Отчего зачалась бела заря,
Отчего зачались звезды частыя,
Отчего зачались ветры буйные,
Отчего зачался мир-народ Божий,
Отчего зачались кости крепкия,
Отчего взяты тела наши?»*

На этих девяти предложенных царь-Володимиром вопросах – как на девяти китах – стоят-держатся все основы мира. Но не смутился царь Давыд Евсеевич, – на то он и был не только мудрый, а даже «перемудрый», – не задумавшись, ответил спрашивающему на каждое его слово вопросное. «А ты гой еси, Володумир царь, Володумир царь Володумирович! – возговорил он. – Ино эта книга не малая, высока книга сороку сажень, на руках держать – не сдержать будет, а письма в книге не прочесть будет, а читать книгу ее некому. А сама книга распечаталась, слова Божии прочитались. Я скажу, братцы, да по памяти, я по памяти, как по грамоте. У нас белый свет взят от Господа. Солнце красное от лица Божия, млад-светел месяц от груди его, зори белыя от очей Божиих, звезды частыя – то от риз Его, ветры буйные от Свята-Духа, мир-народ Божий от Адамия, кости крепкия взяты от камени, тела наши от сырой земли»... В приведенном ответе явственно слышится отголосок народного обожествления видимой природы. И теперь она еще живет и дышит каждым проявлением своего существования, обступая призраками древнеязыческих – злых и добрых, темных и светлых – божеств пахаря-хлебороба,

думающего не об одном только хлебе насущном. А в дохристианскую пору – что ни шаг, то и могущественный дух восставал перед устремленным в глубь жизни суеверным взором отдаленных пращуров народной Руси наших дней.

Небо является теперь, в представлении народа, престолом Божиим, а земля – подножием ног Его. В седые же времена, затонувшие в затуманенной бездне далеких веков, и Небо-Сварог, и Мать-Сыра-Земля представляли собою великих богов, с бытием которых неразрывными узами было связано все существование миров небесного и земного, и от воли которых зависели жизнь и смерть, счастье и горе человека – этой ничтожной песчинки мироздания, возмнившей себя царем природы.

Небо славяно-русских народных сказаний о богах – светлый прабог, отец и полновластный владыка вселенной; земля – праматерь. В этом – их великая связь, от которой, как лучи от солнца, расходятся во все стороны света белого причины всех других явлений бытия и небытия. Как видимый всем дивный, сверкающий звездами шатер небесный охватывает-прикрывает своей ризою все пределы земные, – так и древний прабог народа русского обнимал и прикрывал собой все существующее в поднебесном мире. Светила небесные – солнце, месяц и все тьмы-тем неисчислимой россыпи звездной – считались его детьми, созданными им от своей плоти и крови. Солнце, согревающее все живое лучами, Солнце, приобщающее темную землю к свету небесному, пресветлое Солнце – это светило светил – звалось в языческой Руси Дажьбогом, сыном Небу-Сварогу приходилось. «И после (Сварога) царствовал сынъ его именемъ Солнце, его же наричают Дажьбог... Солнце-царь, сын Сварогов, еже есть Дажьбог, бе бо муж силен...» – говорится об этом в Ипатьевской летописи. Обожествляя пресветлое Солнце, народ русский величает его самыми ласковыми, самыми очестливыми именами. Оно является в его выработанном тысячелетиями мировоззрении добрым и многомилостивым, праведным и нелицеприятным заботником обо всем мире живых. Ниспосылая тепло и свет, осыпая мир щедрыми дарами своего непостижимого для смертных могущества, оплодотворяя не только землю, но и недра земные, оно является в то же самое время и грозным судьей-карателем всякой темной силы-нечисти и всех ее пресмыкающихся по земле слуг, нечестивых приспешников кривды. Может солнце счастливить своими благодеяниями, но в его непобедимой власти – и обездолить засухой, неурожаем и моровыми поветриями, от которых не отчитаться никакими причетами, которых не заклясть никакими заговорами-заклятиями, – кроме обращенных из глубины стихийного сердца народного все к нему же – к пресветлому, всеправедному, всемогущему Солнцу красному (прекрасному).

Нет для Солнца ни богатых, ни бедных, – всем одинаково разливает-раздает оно свои дары и кары: проходят перед его светлыми очами – по народному, пережившему века слову – только праведные и нечестивые. Нет для суеверного русского люда клятвы верней-страшнее клятвенного упоминания имени этого прекрасного светила. «Красна солнышка не взвидать!» – осеняясь крестным знаменем, произносит клянущийся пахарь, и крепко правдою слово его. «Ото всех уйдешь кривыми путями-дорогами, только не от очей солнечных», «Никто не найдет кривду, а солнышко красное выведет и ее на свежую воду!», «Человек целый век правды ищет, да не находит, а стоит выйти на небо солнышку, – только глянет, и правда – перед ним!» – говорит русский народ.

Исследователем воззрений славян на природу – в первом томе его замечательного труда, положительно открывшего глаза изучению отечественного народоведения и народопонимания, записан любопытный простодушный сказ о каре Божией за непочтительность к Солнцу. Это было давно, – гласит он, – у Бога еще не было солнца на небе, и люди жили в потемках. Но вот, когда Бог выпустил из-за пазухи солнце, дались все диву, смотрят на солнышко и ума не приложат... А пуще – бабы! Повынесли они решета, давай набирать света, чтоб внести в хаты да там посветить; хаты еще без окон строились. Поднимут решето к солнцу, оно будто и наберется света полным-полно, через край льется, а только что в хату – и нет ничего! А Божье солнышко

все выше да выше подымается, уж припекать стало. Вздурели бабы, сильно притомились за работой, хоть света и не добыли, а тут еще сверху жжет – и вышло такое окаянство: начали на солнце плевать. Бог прогневался и превратил нечестивых в камень...

Воображение предков народа-пахаря, обожествляя животворное светило дня, отвело ему и особое жилище, куда оно удалялось на отдых после дневных трудов. Это жилище было, однако, не на западе, открывающем Солнцу объятия перед наступлением ночи – этой темной стихии древнего Чернобога, а на востоке, в волшебном царстве Белбога, олицетворявшего собою стихию света-дня. Там, по народному сказанию, стоял дивный дворец Солнца, весь построенный из чистого золота, камнями-самоцветами разукрашенный. Вокруг дворца рос густой сад, все – яблони с золотыми яблоками; распевали в этом саду жар-птицы. Посредине дворца высился алмазный, покрытый пурпуром престол, на котором и отдыхало красное солнышко, скрывавшееся от темневшей земли. Каждым утром садилось оно в свою лучезарную колесницу и выезжало – светоносное – на белых, огнедышащих конях на свой небесный, проложенный тысячелетиями путь, неся миру благотворный свет и светлую радость. На Иванов день, когда оно, достигнув высшей точки стояния, поворачивается с лета на зиму, выезд Солнца совершался с особой торжественностью: в колесницу впрягались не белые кони, а серебряный, золотой да бриллиантовый.

У словаков, западных родичей русского народа, существует следующая сказка, изображающая в лицах смену времен года – борьбою двух враждебных стихий: весеннего освободителя Солнца и его зимнего похитчика, – причем первый представляется воплощением всего светлого-доброго, а последний – прообразом темного зла. Здесь понятия о боге-солнце и боге-громовнике сливались воедино, и борьба стихий проявлялась в гулком грохоте летней грозы. Выходили, по словам сказки, на небесный простор два богатыря-соперника, бросались друг на друга с мечами-кладенцами... Длилась борьба, раздавался звон сшибавшихся друг с другом мечей, но не гнулась победа ни на ту, ни на эту сторону. Тогда кидали враги на небесную пугину свое оружие. «Обернемся лучше колесами да и покатымся с небесной горы!» – предложил богатырь-весна своему ворогу: «Чье колесо будет разбито – тот и побежден будет!» Согласился богатырь-зима... Полетели-покатились с гор-горы оба соперника колесами яркими. И вот – налетело, ударилось колесо-весна об колесо-зиму, – налетело, раздробило его. Но не сдался противник, не сдался – из колеса добрым молодцем перекинулся, – стоит, а сам насмехается: «Не взяла твоя сила! Не раздробил ты меня, а только пальцы на ногах придавил!.. Обернемся-ка, брат, лучше в огонь-попымя, я – в белое, ты – в красное! Чье пламя осилит, тот над другим и верх взял!..»

И вот – обернулись враги-соперники в два пламени, и принялись они друг друга палить, – жгут-палят, осилить один другого не могут... Шел-проходил той дорогой прохожий – старый нищий с длинной седой бородой. Взмолилось к убогому белое пламя: «Старик! Принеси воды, залей красное пламя! Я тебе грош дам!» – «Не носи ему, принеси мне, я тебе червонец подарю, – только залей ты белое!» – перебило врага красное пламя. Червонец – не грошу медному чета: и залил старик пламя похитчика весеннего солнца... На том и сказке – конец. С этой сказкой стоит в несомненной связи соблюдающийся до сих пор на Руси обычай – скатывания горящего колеса с горы в ночь под Иванов день (с 23 на 24 июня).

Немало пословиц, поговорок и различных присловий приурочено народной молвью крылатою к светилу светил небесных, пригревающему землю-кормилицу. Представляет его народ, даже и отрешившись от всяких призраков языческого суеверия, живым, одушевленным, все живящим и все одушевляющим. Как и человек – ходит оно, садится и встает; как и человек – оно веселится-радуется («играет») и слезится-плачет (дождь сквозь солнце), отуманивается грусть-тоскою, закрываясь тучами. Зимой, в морозную пору, станет ему невольно студено, наденет оно рукавицы да наушники, – знай себе идет путем-дорогою, с «пасолнцами», ложными солнцами, по бокам... «Не пугай, зима, весна придет! Не страши, непогода, солнышко

ведет ведрышко!» – так говорит народ-краснослов, а сам приговаривает: «Взойдет красно солнце – прощай, светел месяц!», «Взойдет солнышко и над нашими воротами, нечего ночью грозиться!», «Что мне золото – светило бы солнышко!», «Без милова не прожить, без солнышка не пробыть!» Хотя, по народному слову, солнышко и светит-сияет «на благие и злые», но из тех же уст вылетели на светлорусский простор речения: «На весь мир и солнышку не угреть!», «И красное солнышко на всех не угождает!» и т. п.

Являясь олицетворением правды-истины, солнце представляется стихийной народной душе обличителем кривды. «У того совесть нечиста, кто не взглянет прямо в глаза солнышку!», «Вор на солнце не взглянет, а взглянул, так и глаза вытекут!», «На солнышко, что на смерть, во все глаза недобрый человек не взглянет!» – замечает посельщина-деревенщина, тороватая на присловья-поговорки всякие.

При каких только случаях не вспоминается русскому народу красное солнышко! Если, к примеру сказать, начинают упрекать кого-нибудь в отсутствии щедрости, – «Не солнышко: всех не обогреешь!» – отговаривается он: «И на солнце не круглый год тепло живет!», «И солнышко зимой не греет!» Когда же добрые люди посмеиваются над чьей-либо излишней осторожностью, у того срывается в отповедь: «И сокол выше солнца не летает!» Скажите-ка краснослову, не боящемуся тягаться с неравными ему по положению людьми, чтоб он остерегался суда, – он, того и гляди, ответит, что-де: «Дальше солнца не сошлют!», «Солнышка в мешок не поймашь!» – махнет рукой мужик-простота, которому кто-нибудь станет давать совет приняться за неподходящее его крестьянскому обиходу дело. «Солнышко – золото, да не про нас!», «Солнышко с золотом рядом садится, ловишь его – в карман наложить норовишь, а все, братец ты мой, ни гроша в мешке не шевелится!» – подсмеивается сам над собою бобыль-бездомник, горькая головушка.

Не один десяток связанных с солнцем примет, в стародавнюю пору подмеченных зорким глазом крестьянствующего на Святой Руси пахаря, ходит у нас в народе. «Когда солнышко закатилось, новой ковриги не починай: нищета одолеет!» – говорит выученный вековой нуждой хозяйственный опыт. Но это – еще не примета, а вернее – тоже присловье. А вот и самые настоящие приметы друг дружку погоняют, одна перед одной торопятся свою речь вести, на времена года, на месяцы да на дни, что на подорожный костыль, опираючись. «Если на Василия теплого (28 февраля) солнце в кругах – жди, православный люд, большого урожая!» – гласит одна из них. «На Спиридона-солнцеворота (12 декабря) медведь в берлоге поворачивается на другой бок», – перебивает ее другая, дополняя самое себя: «После солнцеворота прибудет дня хоть на воробыный скок!», «Отколе ветер на солнцеворот, оттоле будет дышать до сорока мучеников (9 марта)!» На смену этим готова идти и третья – «Не давай денег, как зайдет солнце!», и четвертая – «Как солнышко зайдет, не заводи ни с кем спора!»... Да и не перечесать всех, не пересказать, не переслушать. Простонародные русские загадки немало говорят о красном солнышке. «Сито, вито, кругловито, – гласит одна из них (тульская), – кто ни взглянет, всяк заплачет!», «Не стукнет, не брякнет, ко всякому подойдет!», «Что милее на свете?» – спрашивают о нем новгородские загадчики. «Летом греет, зимой холодит!» – вторят вологжане-землекопы и прибавляют к этому: «Что всегда ходит, а с места не сходит?»... В Самарской губернии гуляют по людям такие загадки: «Красно яблочко на синей тарелочке катается!» да «Что на свете всего резвее?»; в Рязанской – «Что никогда не стоит?», «Что скорее всех по земле ходит?», «Что без огня горит?», «Что за красная девушка с неба в оконце глядит?»; в Симбирской – «Вертится вертушечка, золотая коклюшечка; никто ее не достанет: ни царь, ни царица, ни красная девица!» Про солнечные лучи на архангельском поморье сложили такую загадку: «На улице станушки, в избе рукава!» Близ самарской луки на старой Волге – «Барыня на дворе – рукава в избе!», «Белая кошка лезет в окошко!», «Из ворот в ворота лежит щука золота!», в новгородской округе – «Из окна в окно – золото бревно («веретено» по иному, тихвинскому, разносказу)», на курском рубеже – «Сырое суконце тянется в оконце!», у псковичей – «Прес-

ное молоко на пол льют, – ни ножом, ни зубами соскоблить нельзя!», у ярославцев – «Секу, секу, не высеку: рублю, рублю, не вырублю (или «мету, мету, не вымету!»)», «Чего ни в избе не запрешь, ни в сундуке не схоронишь?» и т. д. О солнечном восходе от олончан, соседей чуди белоглазой, слывущих за ведунов-знахарей да за памятливых сказателей, пошли по народной Руси гулять такие две загадки: «Летит птичка-говорок через барский дворок, сама себе говорит: – Без огня село горит!» и «Встану на горку, на маковку, увижу Миколку на заполке!»

С представлением о солнце объединяется у всех народов понятие о двух его сестрах – утренней заре (старшей) и вечерней (младшей). У древних славян существовала одна солнцева сестра – богиня Дева-Зоря, будившая поутру красно солнышко или встречавшая его перед отправлением в путь-дорогу, а ввечеру укладывавшая его спать или провожавшая домой в его волшебное царство, к золотому дворцу. «Заря-зоряница, солнцева сестрица, красная девица!» – величает ее в своих заговорах народная Русь, наделяя ее чудодейною силою: разгонять тьму, убивать нечисть и оплодотворять семена злаков, созданных на потребу человеческую. Так, еще до сих пор существует в захолустных уголках неоглядной-необъятной родины народа-пахаря обычай выставлять на семь утренних зорь приготовленное для посева зерно. На зорьке spryskivayut ключевой водою больных – для излечения от тяжких недугов. По цвету зорь гадают не только о погоде, но и о судьбе: и в том, и в другом случае слишком яркий (багряный, кровавый) цвет не предвещает добра. К вечерней заре обращаются в заговорах на уняtie крови. «На море-окияне, – начинается один из них, подслушанный в разных концах неоглядной родины русских сказаний, – сидит красная девица, заря-зоряница, швея-мастерица. Держит швея иглу булатную, вдевает нитку рудожелтую, зашивает раны кровавые. Нитка оборвись, кровь – запекись!»

«Зарей-красавицею» величает народная Русь каждую из солнечных сестер, но тут же сама себя оговаривает цветистым – что зорька майская – присловьем: «Вешний цвет духовитей осеннего, утренняя зорька краше вечерней!» В народном воображении заря является олицетворением счастья-радости. «И на нашей улице будет праздник, и над нашей крышею займется заря!», «Ждет не дождется горяша горькая ясной зорьки, счастливых деньков!», «Долго ль до зореньки, – тосковал соловушек. Близко ль до счастьяца, – плакала девица!» – можно услышать крылатую молвь деревенскую. Всю жизнь проводит пахарь-народ в труде: в поте лица своего он – по завету Божию – свой черствый хлеб ест. Тысячелетнее дитя природы, кончает он работу на вечерней заре, подымается с жесткого ложа к новому труду – только успеет зажечь пожаром восток утренняя заря-зоряница, красная девица. Одна заря его в дом вгонит, другая на поле выгонит. И так ведется у него изо дня в день, из года в год, из века в век. «Пых-пых по горам – не спи по зарям!» – приговаривает седая простонародная мудрость. «Зарю проспать – гроша («рубля» – по позднему разносказу) не достать!» – добавляет она: «Заря работу родит, работа – деньгу растит!», «День денежку берет, заря денежку кует!», «Заря и мужика золотом осыплет!», «До утренней зари не гляди в окно; вспыхнет заря – вставать пора!»

Связано с понятием о заре немало всяких примет на Руси. Тому, кто хочет копать колодец, умудренные долголетними наблюдениями добрые люди дают совет – выходить из хаты по утренним зорькам до семи раз и присматривать зорким глазом: где первый пар (туман) ложится. «Выдь на семь зорь, увидишь семь белых озер, – на котором хочешь, на том и колодец роешь!» – гласит мудрое слово. Числу семь придается в русском народе особое таинственное значение. Оно вообще пользуется в памятниках живой народной речи большим почетом. Так, можно встретить во многом множестве сказаний не только семь зорь, но и семь ветров, семь холмов, семь русалок, семь небес, семь вещих дев, семь гремющих ключей, семь замков-печатей, семь засовов, семь башен, семь переходов и т. д.

Об утренней заре, загорающейся над грудью Матери-Сырой-Земли после первого весеннего дождя, дошла до наших дней такая присказка, цветами слова изукрашенная: «Заря-зоряница, красна девица, по лесу ходила, ключи потеряла, месяц видел, солнце скрало!»... «По

заря зарянской катился шар вертлянский, никому его ни обойти, ни объехать!» – говорит живая великорусская речь про солнце. С древнеязыческим почитанием богини Зори имеет несомненную связь повсеместно соблюдающийся на Руси обряд оплакивания зари невестою. Заря то и дело поминается в обрядовых свадебных песнях («Не бела заря, в окошечке заря взошла, не светел-то месяц, дорожку месяц просветил...» и многое другое). Захолустными деревнями-селами ходит по людям сохранившееся чуть не от стародавних времен язычества поверье о том, что если обнести только что родившегося ребенка семь раз вокруг бани, то будут бежать от него всякие болести. «Заря-зарина («орина» – по иному разносказу), – причитается при этом, – заря-скорина, возьми с раба Божия, младенца (имярек) зыки и рыки дневные и ночные!» Растению зоря (любисток, гулявица, сильный цвет) придается суеверными людьми сила приворотного зелья.

Не только солнце со своими красавицами-сестрами, но и месяц и звезды были обоготворяемы славянином-язычником. О них дошло до наших дней многое множество преданий, сказаний, поверий и присловий. Месяц представлялся воображению древнего народного суеверия то супругом солнца, то его супругою (когда именовался луною). Понятие об этом неоднократно изменялось, шествуя по бесконечной путине веков. По одним сказаниям, солнце является богиней (царицею) небесных пределов и – при повороте с зимы на лето – наряжаясь в цветной праздничный сарафан и кокошник с камнем самоцветным, выезжает из своих золотых палат навстречу супругу-месяцу.

Пляшет солнышко, играет лучами от радости – в предчувствии желанной встречи, заливает всю ширь и даль поднебесную золотыми волнами счастья. С первыми заморозками, молвит предание, солнце разлучается со светлым супругом-месяцем вплоть до самого возвращения на белый свет весны: муж в одну сторону, жена – в другую. Не подает ни тот, ни другая о себе весточки во всю зиму-зимскую. Встретится Весна-Красна с Зимой-Мораною, тут и им первое свиданье после долгой разлуки живет. Собирателем сказаний русского народа Сахаровым записано поверье о том, что принимаются встретившиеся супруги рассказывать друг другу о своем житье-бытье в разлуке, все – без утайки – говорят на радостях. Не диво, что эти рассказы размолвкой и на ссору наведут. Пойдет такая перепалка-перебранка, что даже земля затрястись может с перепуга. Горденек месяц, – говорят рассказывающие об этом, – от него и ссора зачинается. Добрая встреча солнца с месяцем – и дни будут ясные, худая – на худую погоду наведет, на туманы да на изморозь плачущую. Весною, при первой грозе, по старинному сказанию, совершается брак солнца с месяцем, ежегодно после их разлуки обновляясь грозным торжеством природы.

Звезды частые – бесчисленное потомство ясноликой обожествленной стародавней стариной любвеобильной светоносной четы, солнцевы да месяцевы любимые детки.

*«Ясное солнце – то господыня,
Ясен месяц – то господарь,
Ясни зирки (звезды) – то его дитки...» —*

поется в южнорусской песне-колядке. Тамбовские девушки еще и теперь распевают старинную песню о перевозчике. «Перевозчик, добрый молодец! Перевези меня на свою сторону!» – молит-просит девица удалого перевозчика. «Я перевезу тебя, за себя возьму!» – отвечает он. «Ты спросил бы меня, чьего я роду, чьего племени?» – отговаривается красавица:

*«Я роду (-то) ни большого, ни малого:
Мила матушка – красна солнушка,
А батюшка – светел месяц,
Братцы у меня – часты звездушки,*

А сестрицы – белы зорюшки!»

«Солнце – князь, луна – княгиня», – гласит народная поговорка. По этой последней – луна (месяц) является Солнцевой супругою, – с чем совершенно сходятся языческие сказания о светозарной жене Даждьбога.

Творческому воображению пахаря наших дней небо представляется светлым теремом Божиим – со звездами вместо окон. Из этих окон смотрят на белый свет святые ангелы Господни. Нет счета-числа воинству небесному: сколько людей в мире – столько и ангелов. У каждой живой души – свой ангел-хранитель. Народится человек, и ангела нового посылает Бог стеречь-беречь его от греха напрасного-наносного, от ухищрений нечистой силы дьявольской. Прорубит ангел новое окошечко из Божьего терема, сядет у него да и смотрит, глаз не спускаючи с доверенного его попечению сына земли. «Смотрит ангел, а сам каждое дело земное в книгу небесную записывает. А людям-то кажется, что это все звезды сверкают!» – гласит народное слово. Умер человек, захлопывается ставнями окно, падает и его звезда с выси небесной на грудь земную. Кто увидит такую звезду да успеет сказать свое пожелание, – сбудется, не минуется. В русских простонародных сказках и солнце, и месяц смотрят в небесные окна. Да не в одних сказках, а и прибаутках разных, и в причетах. «Солнышко-ведрышко, выгляни в окошечко! Твои детки плачут, пить-есть просят!» – кличут солнцу во время ненастья, затягивающегося не на день, не на два, а Бог весть на сколько дней. «Месяц ты, месяц, золотые твои рожки! Выглянь в оконце, подуй на опару!» – причитают бабы-хозяйки, приготовляя блинную опару для поминок и становясь при этом непременно «супротив месяца». Кто часто смотрит на звездную россыпь – у того, по старинной примете, глаза будут зоркие. В заговорах можно встретить свидетельство об этом. «Господи Боже, благослови принять от синя моря силы, от сырой земли – резвоты, от частых звезд – зрения, от буйна ветра – храбрости!» – молит один из них, каждым своим словом проникая в суеверную душу охваченного объятиями природы, с колыбели до гробовой доски верного ей пахаря.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.